

Елена Румановская

Автопортрет в лицах:
“Дневники” Евгения Шварца

Евгений Львович Шварц (1896-1958), писатель-драматург, сценарист и сказочник, несколько раз начинал вести дневники: *"Года с двадцать шестого были у меня толстые переплетенные тетради, в которые я записывал беспорядочно, что придется и когда придется"*. Эти тетради 1926-41 гг. были сожжены перед эвакуацией Шварца из Ленинграда 10 декабря 1941 г., (сохранилась только тетрадь 1928 года): *"Уезжая в декабре 41-го из Ленинграда в эвакуацию на самолете, куда нам разрешили взять всего по 20 кило груза, я тетради эти сжег, о чем очень жалею теперь"* (16.1.1947); *"Казалось, жизнь кончена, не стоит беречь бумаги"* (8.4.1952).¹ Отрывочно он вел дневники в 1942-1949 годах, и наконец, ежедневно с 24 июня 1950 года² до конца жизни³.

Записи составили автобиографию Шварца, книгу его “детства, отрочества и юности” (с пропуском периода 1917-1919 гг.), затем зрелости – книгу жизни, в которой делалась попытка закрепить прошлое, осмыслить свой жизненный путь и путь поколения, написать портреты тех, с кем свела судьба на этом пути. Отсюда сложность литературной

¹ Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников/ Сост., подг. текста и примеч. К.Н. Кириленко. – Л., 1990. – С. 24, 172.

² Шварц указал 24 июня 1950 г. как дату начала ежедневных записей (“Начал я записи в субботу 24 июня прошлого года” – 24.6.1951 (IV, 56)), но в изданных материалах первая запись от 30 июня 1950 г.

³ Напечатаны: Шварц Е. Мемуары/ Сост. Л.Лосев. - Париж, 1982; Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников/ Сост., подг. текста и примеч. К.Н. Кириленко. – Л., 1990; *Житие сказочника. Евгений Шварц*. Из автобиографической прозы. Письма. О Евгении Шварце/ Сост. Л.В. Поликовская, Е.М. Биневиц. – М., 1991; Шварц Е. Телефонная книжка/ Прим. К.Н. Кириленко (при цитировании в тексте обозначается ТК); Шварц Е. “...я буду писателем”. Дневники и письма (при цитировании обозначается римской цифрой I); Предчувствие счастья. Дневники. Произведения 20-х - 30-х годов. Письма (при цитировании обозначается римской цифрой II); Бессмысленная радость бытия. Дневники. Произведения 30-х - 40-х годов. Письма (при цитировании обозначается римской цифрой III); Позвонки минувших дней. Дневники. Произведения 40-х - 50-х годов. Письма. / Сост. М.О. Крыжановская, И. Л. Шершнева. – М., 1999 (при цитировании обозначается римской цифрой IV).

классификации прозы писателя, при публикации названной “дневниками”. Это действительно дневники, т. к. записи делались под определенными датами, но ежедневные события отражены в них не всегда, большая часть записей 1950-1957 годов – воспоминания, а период 1955-56 гг. посвящен портретам современников, причем не только известных, собранных по алфавитному принципу в “Телефонную книжку”.

О трудности определения жанра шварцевской прозы пишут все составители его книг, а также он сам: “Свободной формы для прозы так и не нашел; нет формы – значит, лепишь фразы на плохо знакомом языке” (18.8.1957 – IV, 230). Писатель Л. Пантелеев, который считал себя “крестным отцом” “этой лучшей шварцевской книги”, по его словам, писал в воспоминаниях:

“В эти первые дни я как-то сказал:

– Твои мемуары...

– Только не мемуары! – рассердился он. – Терпеть не могу это слово: мэ - му - ары!.. <...> Слово «мемуары» ему не нравилось, но так как другого названия не было (книга его не была ни романом, ни повестью, ни дневником), я назвал его новое произведение сокращенно – «ме», и он как-то постепенно принял это довольно глупое прозвище <...> Со временем он так привык к этому шифру, что даже сам стал говорить:

– Сегодня с пяти утра сидел, работал над «ме» ...

*Действительно, и сейчас трудно определить жанр этой его работы. Тут были и воспоминания, и текущий дневник, и портреты знакомых ему людей («Телефонная книга»), и просто «зарисовки»<...> Все это было как бы экспериментом, игрой пера, но все это делалось не робко, не ученически, а смело, вдохновенно, на полную мощь таланта”.*⁴

Л.В. Лосев вторую главку своей вступительной статьи к изданию отрывков из мемуаров Шварца назвал “Портрет времени как жанр и тема”, полагая при этом, “что в основном мемуары суть разновидность <...> романа”, и деля их “по тем же структурным принципам, что и разновидности романов”.⁵ По указанному делению, проза Шварца определяется им как “эпические мемуары”, в которых “главным действующим является не лицо (и не лица), а память автора, и объектом творческого воплощения оказываются не характеры, не события, а

⁴ Пантелеев Л. Мы знали Евгения Шварца/ Сост. З. А. Никитина, Л. Н. Рахманов. – М.-Л., 1966 – С. 48-49. Кстати, свои собственные мемуары Л. Пантелеев также стал называть “ме”, и это обозначение перешло затем к Л. К. Чуковской. См., напр.: письмо Л. Чуковской Л. Пантелееву от 11.4.1968/ Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987/ Сост. и примеч. Е.Чуковской. – М., 2011. – Письмо № 278; письмо Л. Пантелеева от 23.4.1968 (письмо № 279); письмо Л. Пантелеева от 29.7.80 (письмо № 475); письмо Л. Чуковской от 17.4.1987 (письмо № 597) и др.

⁵ Лосев Л.В. МЕ(муары) Е.Л. Шварца / Шварц Е. МЕМуары. – С.17-18.

настроения, отношения, мифы, предрассудки, характерные для описываемой эпохи в ее развитии и, собственно, и составляющие портрет эпохи".⁶

Вызывает возражения отбрасывание Л. В. Лосевым в качестве "объекта творческого воплощения" в "Дневниках" Шварца характеров и событий – они отображены, неясен, может быть, только характер самого автора. Кроме того, если считать мемуары разновидностями романа, то надо вспомнить о романах воспитания – часть "Дневников" за 1950-1954 гг. о поисках собственного пути приближается к ним.

Дневники для писателей обычны, но чем стала эта самая обширная его работа для Евгения Шварца? Конечно, не летописью эпохи – Е.Л. чуждался политики, не "организующим элементом личного быта"⁷, как когда-то для Михаила Кузмина – времена никак не походили на начало века, и советский быт организовывался по-другому.

Не были они и исповедью – Шварц останавливается перед слишком личными признаниями и описаниями: *"...скрытность, заставляющая меня о некоторых вещах не разговаривать даже с самим собой. (Сюда входит мое отношение к женщинам. Домашние ссоры <...> Ну и все, пожалуй)"* – 26-27. 9. 1947 (IV, 22). В попытке описать жену, Екатерину Ивановну, Е.Л. обрывает себя: *"Ну и довольно об этом. Так близко о себе все равно писать не научусь"* (28-29-30. 9. 1947 – IV, 25). Заканчивая одну из больших "амбарных" книг, в которых создавались "Дневники", Шварц пишет: *"...вспоминая то, что я посмел рассказать, я чувствую, что был правдив, насколько позволил мне мой деликатный дух. Правдив до моего предела"* (1.9.1951 – IV, 61). И еще раз через несколько лет, 24.11.1956: *"Есть предел, за которым прямой рассказ невозможен. Ощущение кощунства"* (II, 186).

Пределы эти невероятно расширились с тех пор, поэтому воспоминания Шварца кажутся современному читателю скорее сдержанными.

Понятие "совестно" распространяется Шварцем и на литературу: *"...записывать то, что я думаю о своем основном деле – о литературе, – не в силах. Совестно почему-то. А ведь этим, в основном, я и дышу..."* (26-27.9.1947 – IV, 23). И снова 28-30 сентября 1947 г.: *"...как всегда, когда я касаюсь самого основного, литературы, и касаюсь, так сказать, со стороны, мне делается совестно, слова отнимаются и мне хочется заткнуться"* (IV, 24).

Эту нелюбовь к разговорам о литературе заметили и некоторые мемуаристы. Леонид Рахманов (автор известной в свое время пьесы "Беспокойная старость"), написал в

⁶ Там же, с. 19.

⁷ Ронен О. Символика Михаила Кузмина в связи с его концепцией книги жизни. // Readings in Russian Modernism. To Honor V.F. Markov. – Moscow, 1993. – P. 296.

воспоминаниях о Шварце, что он "*мало и редко говорил о своей литературной работе*".⁸ Кроме скромности Е.Л., в этой черте сказалось его отношение к литературе как к высокому понятию и, одновременно, как к интимному делу пишущего (о чем пойдет речь далее, в рассказе о драме взросления).

Дневники были для писателя воплощением невоплощенного в творчестве – воспоминания требовали выхода ("*Ведь я прожил свою жизнь и видя и слыша, – неужели не рассказать мне обо всем этом?*" – 21.5.1952⁹), вызывали образы людей, близких и далеких, создалась огромная портретная галерея (в которой скрылся тенью оценок автопортрет автора) и целая книга по алфавиту – "Телефонная книжка". 23 марта 1955 г., размышляя о ее смысле, Шварц записал: "*Я пишу о живых людях, которых рассматриваю по мере сил подробно и точно, словно явление природы. Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы, менявшиеся незаметно для себя или упорно не замечавшие перемен вокруг – исчезнут. Нет, проще. Мне страшно, что все, что сейчас шумит и живет вокруг – умрет, и никто их и словом не помянет – живущих. И это не вполне точно. Мне кажется, что любое живое лицо – это историческое лицо <...> Вот я и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц*" (ТК, 66).

Стали дневники для Шварца и экспериментом в "чистой" прозе, умение владеть которой он считал обязательным для писателя: в составе дневников возникли такие тексты, как "Белый волк" (названный так публикаторами) о К.И. Чуковском, "Превратности характера" (о Борисе Житкове), "Печатный двор" (о знаменитой ленинградской типографии и художниках), "Пятая зона" (о поездке в пригородной, пятой тарифной зоне Ленинграда). И главный текст – повесть собственной жизни.

26-27 сентября 1947 г. Е.Л. записал: "*...я надеюсь, что все-таки научусь писать о себе. И, наконец, кое-что выходит похоже. Очень похоже. И, работая над сценарием, я чувствую, что рука ходит легче – значит, ежедневные упражнения в чистой прозе, пожалуй, полезны*"(IV, 22). Через пять лет он объясняет, что "*стал рассказывать о себе – по нескольким причинам. Первая, что я боялся, ужасался, не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли <...> Надо же, наконец, научиться писать <...> Пора*

⁸ Мы знали Евгения Шварца. – С. 79.

⁹ Живу беспокойно... – С. 176.

научиться писать по памяти – это равносильно тому, чтобы научиться живописцу писать с натуры" (21.5.1952)¹⁰.

В феврале 1953 г. последовала первая похвала самому себе: "...если бы я не овладел, наконец, "прозой", то совсем уж нечем было бы утешиться" (21.2.1953).¹¹

Были дневники для Е.Л. и еще одним экспериментом – постоянной, ежедневной работы. Он много пишет о владевшей им с детства несчастной особенности – невозможности заставить себя трудиться, которую называет "невидимым клещом, отнимающим волю", "демоном" (11-12.12.1951 – I, 310), "болью похуже зубной" (15.5.1953 – III,10). Начав же писать дневники, писатель побеждает своего "демона", о чем пишет с удивлением, радостью, даже умилением.

Первая тетрадь (с апреля 1942 г.) закончена 15 января 1947 г. с надеждой: "Начну теперь новую тетрадь. А вдруг жизнь пойдет полегче? А вдруг я наконец начну работать подряд, помногу и удачно?" Но 16 января итоги кажутся неутешительными: "Лет много. Написано мало. Навыков профессиональных нет".¹² Вторая тетрадь заканчивается быстро, уже 27-28 апреля 1947 г.: "Зачем я их пишу – не знаю. Но иногда как будто удается поймать миг за хвост. (Для себя.) <...> А вдруг все будет хорошо!"¹³ Сейчас, весной, Шварц ставит восклицательный знак, а не вопросительные, как в январе. О третьей и четвертой тетрадях 9 ноября 1950 г. записано: "Предыдущую тетрадь я вел три года, а эту – три месяца. Отчаянно стараюсь плыть, бьюсь с ужасным безразличием, в которое впадал от времени до времени всю жизнь..."¹⁴

24 декабря 1950 г. Шварц отмечает полугодовую веху своих "ежедневных упражнений": "С огромным трудом, преодолевая стыд <...> я научился писать о себе, и теперь надо учиться писать о себе интересно и при этом не врать, что вряд ли возможно", а 24 июня 1951 г. уже "ровно год, как я решил взять себя в руки, работать ежедневно <...> Впервые за всю мою жизнь мне удалось придерживаться этого правила целый год подряд".¹⁵

В июне 1952 г. отмечается два года непрерывной работы, 9 апреля 1953 г. радостная запись: "Мне так несвойственна непрерывность в какой бы то ни было работе, что я все подсчитываю и умиляюсь". И 24 июня 1954 г., когда почти ежедневной работе над

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же, с. 301.

¹² Там же, с. 24, 25.

¹³ Там же, с. 31.

¹⁴ Там же, с. 64.

¹⁵ Там же, с. 77, 134.

дневниками уже четыре года, Е.Л. пишет: "...для меня это чудо; чем дольше оно продолжается, тем больше я удивляюсь и восхищаюсь".¹⁶

Постепенно Шварц почувствовал, что, продолжая "Дневники", пишет главную свою книгу: *"Рассказывая, я ни разу ничего не придумал, не сочинил, а если и ошибался, то нечаянно <...> Я все избегаю черного труда, без которого не построишь ничего значительного. Хочется построить что-нибудь значительное"* (11.2.1953 – II, 93-94).

Шварц писал, скорее всего, "в стол" (напечатана эта проза была только после его смерти), возможно, потому, что рассказ о собственной жизни включал в себя историческое время, а эпоха не располагала к откровенности. И потому, что автор – детский писатель и драматург – не писал раньше "взрослой" прозы, а поставив себе цель вспомнить и записать всю свою жизнь, будучи при этом абсолютно правдивым, он не верил, что справится с задачей и не доверял себе в плане литературного мастерства: *"Решив рассказывать о себе все, ничего не утаивая, я взялся поднимать и ворожать тяжести, мне совсем непосильные. Я писал сказки, стихи, пьесы. А как люди растут - этого я описать не умею. Пропускать то, что посложнее, – неинтересно. Рассказывать то, что здоровыми людьми обычно не рассказывается, – нет опыта"* (30.6. 1951 – I, 205).

Часть записей не отделана литературно, многое написано о здравствующих людях – все это не предполагало печатания, по крайней мере, скорого: *"Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства – и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели"* – 22.2.1951 (IV, 42); *"Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет <...> И все же стараюсь быть понятным, истовым, как верующий, когда молится"* – 15.6.1954 (IV, 132)¹⁷.

Его "тетрадки" прочлись. "Дневники" Евгения Шварца – художественно-документальное произведение сложного состава, в котором сосуществуют психологическая автобиография, воспоминания о людях и литературно-театральной среде Ленинграда и Москвы, художественные портреты ("Белый волк", "Превратности характера", "Телефонная книжка"), очерки быта 1900-1950 годов (интеллигентского в провинциальном в Майкопе, студенческого в Москве 1913-17 гг., студенческо-театрального в Ростове-на-Дону в 1920-

¹⁶ Там же, с. 187, 318, 402.

¹⁷ Тот же текст записи от 15.6.1954 с разночтением (судя по смыслу записи, именно это правильный вариант): "стараюсь быть понятым", - напечатан в другом томе дневников (II, 259).

21 гг., петроградско-ленинградского разных эпох с 1921 по 1958 г., эвакуационного в Кирове, Сталинабаде (Душанбе), Москве 1941-45 гг.) и собственно дневник.

Главный герой. Кто вы, Евгений Шварц?

Нужно сделать обычную оговорку, сказав, что Шварц был сложным человеком, его внутренний мир, описанный им самим, очень отличается от всех его "внешних" портретов, сделанных мемуаристами, знавшими его, и тем более от последних по времени, несколько слащавых биографий под заглавиями "Добрый сказочник" или "Человек, который всегда был прав"¹⁸. Е.Л. сам сказал о себе: *"Я человек непростой"*,¹⁹ – и написал это незадолго до смерти, 30 августа 1957 г., подводя последние итоги. Разумеется, себя человек знает лучше окружающих (хотя некоторые черты характера видны как раз со стороны), но не обо всём известном можно писать, а о хорошем – не принято: *"Трудность автопортрета в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо"*, – как пожаловался сам Шварц в записи 14 мая 1953 г. (III, 9). Главное, что поражает при чтении "Дневников" Шварца – их "неулыбчивость", скрытость знаменитого шварцевского юмора, отсутствие легкости, постоянная рефлексия.

В попытке автопортрета *от третьего лица* Шварц неожиданно для читателя его книг называет основным своим качеством – слабость, состоящую *"в том, чтобы сохранить равновесие, во что бы то ни стало сохранить спокойствие, наслаждаться безопасностью у себя дома"*, – и уточняет, что речь не идет о физической слабости, и даже не о взглядах, в которых он *"упорен, когда дойдет до необходимости поступать так или иначе"*. Писатель определяет свою слабость *"в два приема"*, т. к. *"она двустепенна. На поверхности <...> желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности. Воля к неделанию"* (15.5.1953 – III, 9-10).

Это признание контрастирует с расхожим сравнением Шварца с безупречным Ланцелотом из "Дракона", скорее оно ближе лукавому Коту из той же пьесы. Помните:

¹⁸ Электр. ресурс: <https://godliterary.ru/projects/120-let-so-dnya-rozhdeniya-evgeniya-shvarca> (дата обращения 25.3.19).

Автор текста – Андрей Цунский.

¹⁹ Живу беспокойно... – С. 690.

"Умоляю вас – вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете"? (III, 415). Не забудем при этом, что бой Ланцелота с Драконом (вместо бесславной гибели на месте) мог состояться только благодаря Коту, который выскочил в окно и прошипел: "Всем, всем, всё, всё расскажу, старый ящер" (III, 424).

Впрочем, любое сравнение, как известно, хромает, а писатель "среди многочисленных объяснений своей воли к неподвижности" предлагает и страшноватую метафору, ведущую к словам Дракона о душах людей своего города: "У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнялись" (III, 11).

Лидия Корнеевна Чуковская, прочитав сборник "Мы знали Евгения Шварца" (1966), спрашивает Л. Пантелеева: "Из сборника я не поняла того, чего не понимала в жизни, была ли в Евгении Львовиче – смелость? Я знала его долго, но более издали, чем вблизи; понимала, что он добр, деликатен, мягок; очень чувствовала силу его артистического очарования, его редкостного дара. Но иногда мне казалось, что юмор его был в жизни щитом, некоторой формой душевной уклончивости, способом самоохраны. В его пьесах это не так – ну, а в жизни? Я не знаю".²⁰

Л. Пантелеев ответил: "Был ли он смел? Не помню, кажется у Сервантеса я прочел когда-то запомнившуюся мне испанскую поговорку: «Никто не может сказать о себе: „я храбр“, но некоторые могут сказать: „я был храбр“».

Да, я знаю случаи, когда Евгений Львович проявлял (перебарывая лень и трепет душевный) настоящую храбрость, шел и вступался за людей даже не очень близких ему. Но вместе с тем есть большая доля правды и в том, о чем пишете Вы, – иногда юмор его становился именно таким, защитным, самоохранительным. Но, скажите, кто из нас, проживших сталинские годы и оставшихся тут, может сказать: я – храбр?!"²¹

Лидия Корнеевна заключает: "...я неверно, плохо, неточно задала Вам вопрос – храбр ли он был? Я не имела в виду гражданское мужество – какая уж в тридцатых годах гражданственность! какая гражданская доблесть! она не была возможна даже для хороших людей хотя бы потому, что даже лучшие понимали действительность неясно, мутно. И я, как и все, ни от кого не вправе ее требовать и никому не судья. Но общаясь с Е. Л. (Евгением Львовичем Шварцем – Е.Р.), я всегда чувствовала – может быть, и ошибаясь, – что человек он вообще

²⁰ Письмо от 19.7.1966 /Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 248.

²¹ Письмо от 6.8.1966. – Там же, письмо № 249.

уклончивый, не прямой, что его редкостный, прелестный, очаровательный юмор служит ему в жизни прикрытием. Вот и все, о чем я хотела спросить Вас. В сборнике он не такой".²²

Непримиримая Лидия Корнеевна, пожалуй, поняла правильно.

Эту – защитную – функцию юмора Шварца отметил в своих воспоминаниях и Николай Чуковский, знакомый с Е.Л. с 1922 г.: *"У него была отличная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор".²³*

Сам Шварц "некоторое время", как он пишет, "утешался" следующим объяснением: *"... все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма – в почву нэпа, потом – в почву коллективизации. Категорические приказы измениться <...> Изменения в искусстве несоизмеримы с изменением среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву" (16.5.1953 – III, 11).*

"Дневники" Шварца приоткрывают душу человека, намного более сложного, чем добрый сказочник, вынужденного скрывать и свою веру в Бога (в "Дневниках" существуют только намеки на нее²⁴), и службу в Добровольческой белой армии в 1918 г. (симптоматичен пропуск в подробнейших дневниках периода 1917-19 гг.). Некоторые из его собратьев по перу угадывали эту сложность. Вениамин Каверин, считавший Шварца *"несомненно, одним из самых значительных людей, с которыми был знаком или дружен"*, писал: *"Он был человеком одновременно и закрытым, и открытым. Усилия, непрестанно повторяющиеся, чтобы утаить эту двойственность, могли бы, мне кажется, обогатить нашу литературу, если бы они были направлены на нее..."²⁵*

Начав свой автопортрет 14 мая 1953 г. от третьего лица: *"Евгений Шварц во всех своих измерениях знаком мне с самых ранних лет..." (III, 9)*, – автор заканчивает признанием, уже от

²² Письмо от 18.8.1966. – Там же, письмо № 250.

²³ Мы знали Евгения Шварца. – С. 32

²⁴ См. в книге Л. Пантелева "Верую" (Л., 1991): "Весной 1926 года пришел за чем-то в ленинградский Дом книги, в детский отдел Госиздата (где готовилась тогда к печати «Республика Шкид»), стою где-то в полутемном коридоре, покуриваю <...> Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц – молодой, стройный, красивый и такой возбужденный, распаренный, как будто он только что танцевал или в снежки играл. Через плечо у него перекинута длинная типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде, чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: "Ты в Бога веришь?" Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: "Да. Верю". "Я – тоже", - говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской". (Цит. по: <https://azbyka.ru/fiction/va-veruyu/#p3>. Дата обращения 25.3.19)

²⁵ Каверин В. Эпилог. Мемуары. – М., 1989 – С. 235.

первого лица, что *"автопортрет затруднен двумя обстоятельствами: я лучше знаю себя изнутри, внешний облик неясен мне <...> Кроме того, некоторые считают, что я талантлив <...> Если это так – это дух божий носится над хаосом, который пытался я нарисовать"* (17.5.1953 III, 12).

Попытаемся сравнить "внешний облик" Шварца с его высказываниями о себе "изнутри", не забывая, что воспоминания, напечатанные к 70-летию писателя в сборнике "Мы знали Евгения Шварца" (1966)²⁶, по определению панегиричны. Коллективный портрет, созданный писателями, критиками, режиссерами и актерами (в том числе, в изданиях "Житие сказочника" (1991) и "Воспоминания о Евгении Шварце" (2014)²⁷), выглядит примерно так:

- *веселый, остроумный, чувствующий и создающий юмор, о чем пишут в один голос все мемуаристы. Михаил Слонимский, рассказывая о "блестящих, сверкающих остроумием" (8) импровизациях Шварца в 1922 году в Доме Искусств в Петрограде, пишет, что "он заражал своим весельем окружающих"(19), "вижу его источающим радость и веселье" (23); "В его шутках и пародиях <...> выросла оригинальнейший писатель, наделенный редким и едким даром сатирика" (8), и даже во время войны "спасительный юмор не покидал его" (22).*

Николай Чуковский считал, что юмор Шварца унаследован им от русской литературы XIX века, и он *"удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта, на беспощадном снижении всего ложноторжественного, всегда тайно грустный и всегда многозначный" (26), юмор, по мнению мемуариста, близко наблюдавшего обоих, сблизил Шварца и Николая Олейникова, и "был то конкретный и бытовой, то пародийный и эксцентрический, вдвоем они поражали неистощимостью своих шуток" (29); Шварц любил "смешить и смеяться" (29).*

В знаменитом, в том числе и остроумием, Детском отделе Госиздата, куда перебросили в 1929 г. из райкома комсомола Веру Кетлинскую, Шварц *"был самым остроумным" (86), "его отличали жизнерадостность, веселость" (91).*

Познакомившийся со Шварцем в том же Детском отделе Л. Пантелеев пишет об *"искрометном шварцевском юморе" (46), добавляя, что Е.Л. "не только сам шутил и острил, он подхватывал все мало-мальски смешное в окружающей жизни, ценил юмор в других" (56), и*

²⁶ Номера страниц сборника "Мы знали Евгения Шварца" указываются в тексте в круглых скобках.

²⁷ Воспоминания о Евгении Шварце. / Сост., подг. текста, коммент. Е. Биневица. – СПб., 2014.

заключает: *"Где Шварц – там смех и веселье!"* (54) и *"без юмора невозможно и вообразить себе Евгения Львовича"* (61).

Драматург Леонид Малюгин, узнавший Шварца во время войны, пишет, что *"Шварц был человеком неистощимого юмора <...> Его юмор был построен на серьезной основе <...> У него был тот, может быть, высший сорт юмора, который англичане называют юмором со спокойным лицом, та еле уловимая ирония, которую надо было распознать..."*, он *"острил нередко зло и беспощадно. Он никогда не подавал свои остроты, никогда не превращал собеседников в зрителей <...> Он острил мимоходом, между прочим..."* И заключает: *"Шварц был веселым человеком"* (104-105).

Музыковед Моисей Янковский²⁸, знавший Шварца с 1920 г., написал, что *"чувство смешного было присуще ему в высокой степени"* (121). Почти так же выразился критик Лев Левин: у Шварца было *"необыкновенное чутье на смешное в жизни и в людях"* (140).

"Человек-улыбка" (162) назвал Шварца литературовед и чиновник от литературы Александр Дымшиц, вспоминая, как в 1940 г. весь Дом писателей в Ленинграде был увешан *"щитами и плакатами с его (Шварца – Е.Р.) остротами"* (161).

Л. К. Чуковская в письме Л. Пантелееву от 16.1.1958 с откликом на смерть Шварца пишет: *"Я помню и буду его помнить всегда молодым <...> веселым, тихо и метко острящим – даже не острящим, а источающим юмор"*²⁹.

Цитаты можно умножить. Почти все мемуаристы также приводят и смешные отрывки из писем Шварца, и его устные незаписанные остроты. Заклучу словами Ильи Эренбурга, что Шварц *"умел рождать улыбку"* и *"запомнился всем как веселый собеседник"*.³⁰

Таким Шварц был всегда, о чем написала его подруга детства Наталья Григорьева (Соловьева): *"Это был удивительно веселый, общительный, проказливый мальчик, выдумщик, заводила, блестящий имитатор любого голоса, особенно собак, потешавший нас до слез..."*³¹

²⁸ Моисей Осипович Янковский (*Хисин*; 1898-1972) – советский музыковед, критик, драматург и педагог. В 1931-1933 гг. – художественный руководитель Театра Музыкальной комедии, Театра эстрады в Ленинграде.

²⁹ Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 96.

³⁰ Живу беспокойно... – С. 291.

³¹ Григорьева Н. Мой друг Женя Шварц // Житие сказочника... – С. 179. Наталья Васильевна Григорьева (Соловьева) (1895-1975) часто упоминается Шварцем в его "Дневниках", дружба с ней сохранилась до конца жизни Е.Л.

Эти замечательные качества человека и писателя находятся на первом плане в портрете Шварца. Он же сам в "Дневниках" как бы выносит свою веселость за скобки, только иногда вспоминая: *"У меня была счастливая натура – вот и всё. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность – веру. И я был весел"* (19.10.1953 – II, 45). Эта веселость помогала переносить "труднейшее время" 1922-23 годов, без профессии, денег и квартиры: *"Я мог жить, мог питаться только радостью, зато уж и находил её повсюду. Хоть каплю, а вытью. Едва отходил я от тоски, вызванной тяжелым положением <...> как я веселел"* (16.10.1953 – II, 44).

Даже рассказывая о "могучем разрушителе" Николае Олейникове, виновнике ссоры между С.Я. Маршаком и Борисом Житковым (в середине 1930-х гг.), Шварц специально подчеркивает: *"...во имя точности должен я сказать, что эта демоническая или, проще говоря, черт знает что за история <...> не убивала одной особенности нашей тогдашней жизни. Мы были веселы. Веселы иной раз до глупости, до безумия, до вдохновения..."* (10.10.1952 – II, 132).

О юморе своем, Н. Олейникова, Д. Хармса, Н. Заболоцкого Шварц написал так: *"Остроумие в его французском представлении презиралось. Считалось доказанным, что русский юмор – не юмор положения, не юмор каламбура. Он в отчаянном нарушении законов логики и рассудка"*, - и привел в объяснение цитату из Гоголя: *"А невесте скажите, что она подлец"*. И еще раз напомнил, что *"в нашем веселье <...> приветствовалось безумие"* (22.10.1952 - II, 132), которое принимал и Борис Житков, старший из всех.

Цитированные шварцевские отступления о веселье, смехе и юморе потому и понадобились ему в "Дневниках", что в тексте юмор только изредка напоминает о себе, чаще скрываясь в иронии.

На первом плане "внешнего" портрета Шварца, естественно, и его *доброта, доброжелательность, человеколюбие* – основа его творчества.

"Жизненный опыт вылепил его принципиально добрым <...> Человеколюбцем Шварц был упрямым, терпеливым и неуступчивым. Иногда думалось, что в нем живет какое-то идеальное представление о людях и возможных человеческих отношениях, что некая Аркадия снится ему" (9), – считал М. Слонимский, друживший со Шварцем с 1922 года. Н. Чуковский, вторит: *"Я порой даже возмущался, – мне все казалось, что он ко многим людям относится слишком мягко и снисходительно <...> мне вдруг пришло в голову, что он добрее меня, и потому прав"* (40-41), он же написал о *"красоте доброты"* в творчестве Шварца.

"Да, несомненно, он был человек очень добрый" (50), – констатирует Л. Пантелеев; Вера Кетлинская пишет, что "Евгений Львович был <...> самым доброжелательным человеком (в редакции Детского отдела Госиздата – Е.Р.). С первого дня <...> я потянулась к его доброте..." (86), - и добавляет: "...его отличали <...> вера в людей и в добро" (91). Театральный критик С.Л. Цимбал отмечает, "что он (Шварц – Е.Р.) был необыкновенно добрым художником, и не просто добрым, а активно добрым, именно добротой своей побуждаемый к творчеству" (150); историк балета Юрий Слонимский пересказывает слова балетмейстера Ю. Григоровича: "Все <...> отступило на задний план перед той добротой и человечностью, которые хлынули на меня при встрече с Евгением Львовичем. Их хватило бы на весь советский балет" (215).

Илья Эренбург, прочитав сборник "Мы знали Евгения Шварца", добавил свои воспоминания: "Е. Л. Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта вопреки мнению многих не стала распространенным свойством, это скорее дефицитный товар"³².

Надо уточнить, что Шварц был не безразлично добреньким, а добрым и умеющим воевать со злом, о чем тоже сказали мемуаристы. М. Слонимский написал, что "всякое проявление душевной грубости, черствости, жестокости Шварц встречал с отвращением, словно увидел сыпнотифозную вошь или змею, это было в нем прелестно..." (9), в творчестве же его "добрая идея <...> в слуги взяла себе сарказм, злую сатиру..." (20).

Н. Чуковский, кратко охарактеризовав "ложь, подлость, лесть, низкопоклонство, клевету, наушничество, предательство, шпионство, безмерную, неслыханную жестокость", плавающие "в лицемерии, как в сиропе" эпохи 1930-1940-х годов (правда, отнеся их исключительно к фашизму), заключил: "И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому: нет" (37), "...пьесы его полны такой горячей ненависти к злу, подлости всякого рода, что они обжигают" (38).

Л. Пантелеев, говоря о доброте Шварца, считает нужным подчеркнуть, что "добряком (толстым добряком), каким он мог показаться <...> Евгений Львович никогда не был. Он умел сердиться <...> Умел невзлюбить и даже возненавидеть подлеца..." (50). В письме Л. К. Чуковской от 22.1.1958 Пантелеев высказался более прямо: "Евгений Львович не всегда и не со всеми был добрым. Последние слова его:

– Софронов³³ – подлец.

³² Эренбург И. Люди, годы, жизнь. // Житие сказочника... – С. 293.

*Впрочем, не самые последние. Через минуту он сказал:
– Гитович³⁴...*

По-видимому, ту же характеристику он относил и к этому малоприятному человеку³⁵.

Режиссер Григорий Козинцев, работавший со Шварцем-сценаристом над фильмом "Дон-Кихот" (1957), в тезисах к ненаписанной статье о писателе пронизательно отметил: *"Доброе – и злой взгляд"*.³⁶

Особенно этот взгляд проявляется в портретах Шварца, в оценках людей.

Что же пишет о своем человеколюбии сам Шварц? В автопортрете от третьего лица он сначала задает вопрос, не давая ответа: *"При своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их? Затрудняемся сказать."* Затем призывает в судьи "заклятого друга" Николая Олейникова, который *"доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более ничего не сделает для близких."* И скромно замечает: *"Мои наблюдения этого не подтвердили"*, - объясняя, - *"без людей он жить не может – это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно. И в этом взгляде, по каким бы причинам он не возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей как на явление как на созданий божьих. О равнодушии здесь не может быть и речи. Жизнь его не мыслима без людей. Другой вопрос – сделает ли он для них что-нибудь? Сделает ли он что-нибудь?"* (16-17.5.1953 – III, 11).

Заканчивается размышление о любви к людям тоже вопросом, связанным с названной уже главным качеством слабостью, и эта постоянная рефлексия переполняет "Дневники".

Вернемся к "внешнему" портрету. Конечно, Шварца обожали дети, чувствуя его доброту, его "волшебство", но и об этом, всем известном качестве своем, Е.Л. не упоминает в "Дневниках", вместо этого рассказывая о детстве своей дочери Наташи, описывая мимоходом ее маленьких подруг и подробно – сына Н. Олейникова, Сашеньку (*"Сашенька казался, да нет, и в самом деле был гениальным ребенком, что нередко случается в двух-*

³³ Софронов Анатолий Владимирович (1911-1990) – советский писатель, общественный деятель, журналист, дважды лауреат Сталинской премии в области литературы и искусства (1948, 1949), Герой Социалистического труда (1981). В 1948-53 гг. – секретарь Союза Писателей, в 1953-86 – главный редактор популярного журнала "Огонек". Пользовался устойчивой репутацией сталиниста и антисемита.

³⁴ Гитович Александр Ильич (1909-1966) – советский поэт, переводчик китайской и корейской литературы, переводил, в том числе, Мао Дзэдуна.

³⁵ Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 98.

³⁶ Житие сказочника... – С. 290.

трехлетнем возрасте" – 21.12.1956 (III, 13)), детей Николая Заболоцкого, Наташу и Никиту, которым посвящено очень много места в "Дневниках". Здесь надо упомянуть, что ко времени рассказа Олейников был расстрелян, его жена выслана, а Заболоцкий находился в лагере, и Шварцы, Евгений Львович и его жена Екатерина Ивановна, помогали их семьям: снимали дачу для Сашеньки Заболоцкого и его бабушки, растили вместе с Екатериной Васильевной Заболоцкой её детей.

Несмотря на слова Л. Малюгина, *"все наизусть знают, как нежно любил Шварц детей, как доверительно и изобретательно общался с ними и как дети к нему льнули"* (78), приведу еще несколько примеров, просто из удовольствия показать "живого" Шварца. М. Слонимский вспоминает 1922-23 годы в петроградском "Доме Искусств": *"Кто сразу угадывал в нем доброго волшебника – так это дети. Они ходила за ним толпой. Он мог бы, как сказочный крысолов, повести их куда угодно"* (10). В другое время, после войны, в дачном поселке под Ленинградом, по словам друга юности Шварца театроведа Ильи Березарка, *"жил добрый волшебник... Так думали дети, которые хорошо его (Шварца – Е.Р.) знали и часто с удовольствием ходили к нему в гости..."*³⁷

Первая жена Шварца, актриса Гаянэ Халайджиева (по сцене – Холодова)³⁸, в воспоминаниях 1965 г., названных "Чистая душа", писала, что *"Шварц помогал <...> многим чужим ребятам. Подбирали мы с ним беспризорников <...> Дети стайками ходили за Шварцем"*.³⁹

Доброта и "детская душа" (Л. Пантелеев (48)) Шварца не заслоняют его ума и даже мудрости. О "добром уме" Шварца пишет М. Слонимский: *"Светился обаятельный, согретый живым добрым чувством ум, своеобразный и неожиданный, пронизательный и нежный"* (9). Отмечают ум Е.Л. и другие мемуаристы: *"У него (Шварца – Е.Р.) вообще было замечательное умение понимать – свойство очень умного и сердечного человека"* (Н. Чуковский (40)); *"Проказливость мальчика, детская чистота души сочетались в нем (Шварце – Е.Р.) с мужеством и мудростью зрелого человека"* (Л. Пантелеев (70)); *"...ум и память Шварца были необычайно активны, мозг его все подвергал живому исследованию и воспроизведению"* (Л. Рахманов (75)); о "зоркости понимания"(101) пишет В. Кетлинская; *"Неоткуда было бы,*

³⁷ Березарк И. Кузены // Житие сказочника... – С. 185. Илья Борисович Березарк (1897-1981), критик, театровед, познакомился с Антоном и Евгением Шварцами в 1915 г. в Московском университете.

³⁸ Халайджиева Гаянэ Николаевна (1898-1983) – актриса Ростовского театра, Большого драм. театра (БДТ) в Ленинграде, жена Е. Л. Шварца (1920-1929).

³⁹ Холодова Г. Чистая душа // Житие сказочника... – С. 193.

вероятно, взяться его мудрости, если бы он шел в своей внутренней жизни гладкой <...> дорогой" (С. Цимбал (156); "Без перехода детство соединяется с мудростью"⁴⁰ (Г. Козинцев).

О своем уме Шварц в "Дневниках", естественно, не пишет, напротив, он чрезвычайно критичен по отношению к себе в этом вопросе, особенно в рассказе о детстве и юности: "...умнее я не делался" (9.1.1951 – I, 102).

Какие еще качества характера Е. Л. Шварца называют его друзья, коллеги, знакомые?

- *Благородство* (П. Маркиш⁴¹ "с особым напором <...> называл пьесу Шварца ("Тень" – Е.Р.) благородной, именно благородной по направленности, по мысли и чувству <...> Маркиш нашел нужное слово для характеристики не только "Тени", но и всего творчества Шварца и человеческого облика его" (М. Слонимский (21); "высокая и воинственная душа" (Н. Чуковский (41); "Евгений Львович был <...> человек очень большого благородства" (Л. Пантелеев (53); "Шварц был материализованной СОВЕСТЬЮ. Рыцарем и аристократом духа"⁴² (Татьяна Зарубина);

- *общительность* ("Женя (Шварц – Е.Р.) так же блистал здесь (на Донбассе – Е.Р.) в любом обществе, как и в Петрограде" – М.Слонимский (16); Шварц "во всяком обществе становился "душой" этого общества", что "делало его несколько фамильярным" (44) – Л.Пантелеев; "Шварц бывал в жизни разным <...> Знавал я и громкого Шварца, каким он бывал в большом обществе, на банкете, когда встав на стул <...> он зычно провозглашал остроумные тосты" (77) – Л. Рахманов; Шварц "обожает рассказывать, слушать с благодарным вниманием", испытывает удовольствие "общаться с людьми" (224) – кинорежиссер М. Шапиро⁴³;

- *легкость и даже легкомыслие* ("Со стороны он мог показаться (и кое-кому казался) очень милым, очень ярким, веселым, легким и даже легкомысленным человеком. До какой-то поры и мне он виделся только таким" (44) – Л.Пантелеев; "Я редко встречал людей более легкомысленных по части своего материального обеспечения..." (73-74) – Л. Рахманов; "По своей беспечности он (Шварц – Е.Р.) обычно был в состоянии полного безденежья" (87) – В. Кетлинская, которая

⁴⁰ Козинцев Г. Тезисы к ненаписанной статье о Шварце. // Житие сказочника... – С. 290.

⁴¹ Маркиш Перец Давидович (1895-1952) – писавший на идиш советский поэт и писатель, в 1939 г. стал единственным из еврейских писателей кавалером ордена Ленина, зав. Еврейской секцией Союза писателей, член президиума Еврейского Антифашистского комитета, арестован в 1949, расстрелян. Реабилитирован в 1955 г.

⁴² Зарубина Т. Моя азбука. // Житие сказочника... – С. 249. Зарубина Татьяна Александровна – филолог, дочь Ирины Зарубиной, актрисы Ленингр. Театра Комедии, исполнительницы ролей в пьесах Шварца, и Александра Роу, режиссера фильма "Марья-искусница"(1959) по сценарию Шварца.

⁴³ Шапиро Михаил Григорьевич (1908-1971) – советский кинорежиссер, сценарист, совместно с Н. Кошеверовой ставил фильмы по сценариям Шварца "Золушка" (1947), "Каин XVIII" (1963).

вспоминает, что в 1930-е годы Шварц *"казался человеком, живущим легко и даже бездумно"*, и сам о себе говорил: *"У меня душа легкая"* (91);

- *артистизм, любовь к выдумке* (Н. Соловьева (Григорьева) и М. Янковский вспоминают знаменитую сценку из молодости Шварца "Собачий суд", в которой он лаял на разные голоса, изображая весь ход судебного процесса⁴⁴; Эстер Паперная⁴⁵, отмечает: *"Вообще, по части жизнерадостного дуракаваляния Шварц был неутомимым и непревзойденным мастером. Он был организатором импровизированных спектаклей-миниатюр"*⁴⁶, и рассказывает о некоторых из них; о *"пленительном артистизме природы"* Шварца пишет И. Рахтанов⁴⁷ (129); "следопытом и фантазером" (149) называет писателя С.М. Цимбал; актриса ТЮЗа Клавдия Пугачева пишет: *"Был он веселым, добрым, дурашливым, заводным на всякие шутки"*.⁴⁸

- *художественный вкус* (в молодости, по словам М. Слонимского, Шварц *"был как бы скован, связан высоко развитым художественным вкусом"* (11); о *"прекрасном вкусе"* (87) Шварца пишут В. Кетлинская, А. Дымшиц; К.И. Чуковский в письме к Шварцу от 28.10.1956: *"... кроме таланта и юмора, такого «своего», такого шварцевского, не похожего ни на чей другой, Вы вооружены редкостным качеством – вкусом – тонким, петербургским, очень требовательным, отсутствие которого так губительно для нашей словесности"*.⁴⁹

- *сложное отношение к славе* (Шварц *"был тщеславен. Однако это было такое тщеславие, которому я даже немножко завидовал. В нем было что-то трогательное, мальчишеское"* (47) – Л. Пантелеев; "творческую мнительность" отметил Л. Рахманов; Моисей Янковский написал, *"что за внешним обликом веселого рассказчика и «души общества» он скрывал тревожную мысль о своем месте в литературе"* (125));

- *скромность, нелюбовь к громким словам, ненависть к фальши* ("*...это был человек исключительно скромный. Например, он никогда не употреблял по отношению к себе слова*

⁴⁴ См. замечательное описание сценки в воспоминаниях М. Янковского // Мы знали Евгения Шварца. – С. 120-121.

⁴⁵ Паперная Эстер Соломоновна (1901-1987) – детская писательница, переводчица, редактор Детского отдела Госиздата, журнала "Чиж", одна из авторов знаменитой книги пародий "Парнас дыбом" (1925).

⁴⁶ Паперная Э. В редакции "Всероссийской кочегарки" (1966) // Житие сказочника... – С. 211.

⁴⁷ Рахтанов Исай Аркадьевич (Лейзерман; 1907-1979) — русский советский писатель.

⁴⁸ Пугачева К. В. Прекрасные черты. Воспоминания/ Сост. А.В.Шестопал (Пугачёв). – М., 2009. – Цит. по: https://www.e-reading.club/chapter.php/126225/14/Pugacheva_-_Prekrasnye_cherty.html (дата обращения - 21.4.2019). Пугачева Клавдия Васильевна (1906-1996) – актриса Лен. ТЮЗа, московских Театра Сатиры и Театра им. В. Маяковского.

⁴⁹ Цит. по: Литературное обозрение. – 1987, №1. – С. 110.

писатель" (47); "...как и Чехов, он стеснялся произносить громкие слова, изрекать что-нибудь было не в характере Евгения Львовича" (54) – Л. Пантелеев; "...никакой фальши он не выносил" (92) – В. Кетлинская); "не переносил помпы, слащавого лицемерия" (185) – Н. Акимов;

- "скептицизм, житейская осторожность" (38), по словам Н. Чуковского;

- нелюбовь к ссорам, что можно отнести и к доброте, и к "житейской осторожности" ("Ссориться <...> не любил" (63) – Л. Пантелеев; "Евгений Львович был добродушен и не любил встречать во всякие споры и дискуссии" (102) – В. Кетлинская;

Мемуаристы, знавшие Шварца много лет, заметили и его ранимость ("Он был легко раним" (47) – Л. Пантелеев), и вспыльчивость, и лень ("В молодости Евгений Львович был немножко ленив..." (46) – Л. Пантелеев); и даже то, что он терял чувство меры в насмешках (об этом написал тот же Л. Пантелеев, возможно, слишком обидчивый: "подкусывая", Е.Л. иногда "терял чувство меры" (60).

Шварц оценивает себя гораздо строже, чем друзья, коллеги и сторонние наблюдатели. Общительность он объясняет "боязнью одиночества" ("Как я уже тогда (в детстве – Е.Р.) боялся одиночества" – 31.10.1950 (I, 72)); нелюбовь к ссорам – страшной "внутренней гемофилией": "При внешней веселости, уживчивости и укладистости я всегда встревожен, всегда у меня душа болит. Я страдаю внутренней гемофилией. То, что для других царапина, меня истощает, отчего я и осторожен, стараюсь ладить, уладить" (22.11.1953 – III, 187). Эту "ненависть к прямым объяснениям и обвинениям" Е.Л. вынес из детства, осознав, что она "зародилась <...> несомненно, в очень давние времена" (11.12.1950 – I, 87), при рассказе о характере и поступках матери.

Вместо пленительной легкости, которая так нравится мемуаристам, в дневниках пишется о "беспечности", одновременно и "идиотской", и "спасительной", "заменявшей независимость и мужество" (14.1.1957).⁵⁰

Отношение Шварца к славе, действительно, было сложным, идущим из детства (об этом речь будет идти в главе "О евреях и еврействе").

Являясь одновременно и объектом, и субъектом описания, немолодой уже автор хочет понять себя, запрещая сочинять, уклоняться от правды, быть литературным, но кому это удавалось? Понимание себя не переходит в исповедь и погружение в глубины подсознания, останавливает Шварца стыд, одна из благородных составляющих его души, о

⁵⁰ Живу беспокойно... – С. 320.

котором он написал подробно: *"Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Нет, не первую, конечно, но огромную. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий, уж я-то знаю довольно его разновидностей. И вкус мой – от стыда, и любовь к сказкам – от стыда, чтобы не говорить о себе..."* (20.11.1950 – I, 77-78).

Впрочем, в первых частях "Дневников" Шварц пишет менее патетически о неумении или нежелании погружаться в себя: *"По бессмысленной детской скрытности, которая завелась у меня лет в тринадцать и держится упорно до пятидесяти, не могу я говорить и писать о себе. Рассказывать не умею <...> до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи"* (16.1.1947).⁵¹

В. Каверин в своей последней книге "Эпилог" (1989) высказал предположение, что часть "Дневников" Шварца зашифрована приписыванием мыслей автора героям выдуманных пьес, но выражал уверенность в том, что когда *"мемуары будут разгаданы и опубликованы, в русской литературе появится еще одна великая книга"*.⁵² Предполагаемой Кавериным загадки Е.Л. Шварц нам не задал, но загадал другую – ускользающую от определений, скрывающуюся в подробнейших записях собственную личность. Его автопортрет растворен в портретах других, проступая оценками, интонацией, умалчиваниями.

Не забудем, что портрет человека искусства создается не столько его мемуарными текстами, сколько его произведениями, которые надо постоянно держать в памяти, т.к. Шварц не часто упоминает их в "Дневниках". И, конечно, никакой дневник не может показать человеческую личность как объективную реальность.

Историческое время

Основной темой "Дневников" Евгения Шварца, как и любых мемуаров, является выяснение отношений автора со своим прошлым, которое существует не только в его памяти, но и в историческом времени.

"Дневники" Е.Л. не являются "летописью эпохи", события русской, мировой или советской литературной истории редко называются и описываются в них прямо, почти

⁵¹ Там же, с. 24-25.

⁵² Каверин В., указ. соч. – С. 295.

всегда они присутствуют лишь "за сценой". Подробно рассказано немного: митинг в 1905 году, нарушивший скучную жизнь маленького окраинного города Майкопа и воспринятый девятилетним мальчиком как праздник; реакция на объявление войны в 1914 г. (*"Я не верил в события большие, идущие извне, – в моей жизни их не было"* – 16.11.1952 (I, 497)); Первый съезд писателей и похороны Кирова в 1934 году, финская война, конечно, 22 июня 1941 года, Второй съезд писателей – и это всё. Нет описаний и размышлений о Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, о Гражданской войне, что становится понятным в свете обнародованных в недавнее время сообщений о службе Шварца в Добровольческой армии и участии в Ледяном походе⁵³. Но отсутствуют и упоминания о смерти Ленина, о первых и любых других пятилетках, съездах партии и докладе Хрущева о культе личности в 1956 г.

1924 год знаменателен для Шварца не смертью Ленина и переименованием Петрограда, а началом творческой жизни – публикацией "Рассказа старой балалайки"; "год великого перелома" 1929-й – рождением дочери, успехом пьесы "Ундервуд" на сцене ТЮЗа и уходом из первой семьи. Внутренний мир в его воспоминаниях всегда важнее внешнего.

Некоторые общественные события все же записываются в "Дневниках", осторожно и нейтрально. Например, реакция на три постановления ЦК партии августа-сентября 1946 г.: "О журналах "Звезда" и "Ленинград", "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению" и "О кинофильме "Большая жизнь", – выразилась в трех же коротких предложениях: *"В литературе стало очень напряженно. Решение ЦК резко изменило обстановку. В театре и в кино не легче"* (21.10.1946).⁵⁴

Записи о смерти Сталина делаются в дневниках 5,6 и 7 марта 1953 г. Пересказ сообщений радио и газет переходит в продолжение воспоминаний, без остановки и разделения: *"Сегодня бюллетень так же мрачен, как вчера. Попробую продолжать работу над прозой"* (5.3.1953); *"Сегодня сообщили, что вчера скончался Сталин <...> Через час еду в город – в пять общее собрание в Союзе. Возвращаюсь в двадцатые годы. В конце их я..."* (6.3.1953)⁵⁵. 7 марта описывается траурное собрание Союзе писателей. Фиксация собственного состояния – не

⁵³ Этот факт указан в статье о Е. Шварце на сайте Википедии со ссылкой на: [Мемория. Евгений Шварц // Полит.ру.](https://polit.ru/news/2014/10/21/schvarts/) — 21.10.2014// <https://polit.ru/news/2014/10/21/schvarts/> - дата обращения 1.6.2019, а также в прим. Л.В. Поликовской и Е.М. Биневиича к воспоминаниям Н. Чуковского о Шварце со ссылкой на воспоминания друзей детства и юности Шварца – В. В. Соловьевой и И. Березарка (Житие сказочника... – С. 359).

⁵⁴ Живу беспокойно... – С. 22.

⁵⁵ Там же, с. 310-311.

чувств, которые не названы – в одной записи 6 марта: *"Мне сегодня писать трудно. День мрачный, ночью не спалось. По радио передают печальную музыку"*.⁵⁶

Тем не менее Шварц пытается осмыслить историческое время и подбирает ему определения.

1914 год – *"недоброе время, надвигающееся на всех"* (21.11.1952 – I, 502);

1921-1922 годы – *"время, беспокойное, голодное, ничем не подкрепленное, словно висящее в воздухе"* (III, 86);

1922 год: *"История в те дни шагала быстро"* (28.1. 1953);⁵⁷

первая половина 1920-х – *"трудное», «голодное, но, как я вижу сейчас, здоровое»* время (19.10.1953 – II, 45);

в 1927 г. *"нэп был еще прочен, но казался случайным, вроде бабьего лета"* (23.5.1953 – II, 142);

в 1928 г. *"обычное в те времена выражение скрытой тревоги"* (13.6.1953 – II, 158);

затем *"двадцатые годы, боевые"* переходят в тридцатые *"как будто более спокойные"* (5.3.1953 – II, 108), *"жесткий суровый воздух тридцатых годов"* (19.11.1953 – II, 55);

"время бедное – конец 29-го, 30-й год. Коллективизация" (16.11.1956 – II, 179);

"Невеселый, хмурый, угрожающий 35 год перешел незаметно в тридцать шестой" (29.7.1954 – II, 290); *"Что делалось вокруг? Темнело. И мы чувствовали это, сами того не желая"* (5.12.1956 – II, 214);

лето 1936 г.: *"Надвигались времена тяжелые, убийственные для всей страны годы"* (ТК, 495);

в 1937, *"начиная с весны, разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии"* (7.12.1956 – II, 215);

1939 год *"оказался по некоторым бедам чуть ли не страшнее 38-го"* (20.12.1956 – III, 12); *"был страшен несчастьями, которые начинались"* (3.1.1957 – III, 25);

"В сороковом несчастья назревали" (13.1.1957 – III, 33); *"путанные и тесные времена"* (16.1.1957 – III, 36).

1941-й *"притворялся смирным», но «стало тихо <...> и беспокойно, как перед грозой»* (III, 72);

после войны *"время пришло немирное"* (29.8.1955 – ТК, 215);

"Ряд послевоенных лет сплавился в одно целое. Не могу рассказывать об этом времени, всё, как в тумане или в болотной тине" (4.8.1955 – ТК, 196); *"для меня это время как бы запеклось"* (3.8.1955 – ТК, 196);

⁵⁶ Там же, с. 311.

⁵⁷ Там же, с. 284.

1948-49 гг. – *"времена делались всё более мутными"* (30.8.1955 – ТК, 216).

Историческое время почти не оставляло внутреннему миру независимости. Не время ли, в том числе, определило выбор Шварцем сказочной формы для его веры в добро? 19 мая 1953 г. Е.Л. записал, *"что приобрел способность находить равновесие в промежутке между двумя толчками землетрясения и греться у спичек, и с благодарностью вспоминать отсутствие тревоги как счастье"* (II, 142), а 26 июля 1954 г.: *"Все стараюсь вспомнить время, в которое можно было спрятаться, обсушиться и обогреться, – и не могу"* (II, 287).

Сюжет

Сюжетом является жизнь Шварца.

Сюжетных линий много: детство, семья, прочитанные книги, путешествия, поездки и города, первая любовь и "воспитание чувств", вера в Бога, русско-еврейская рефлексия, травмы взросления, Москва в 1913-17 гг., Театральная мастерская в Ростове-на-Дону в 1920-21 гг., Дом Искусств в Петрограде, театральная жизнь Петрограда-Ленинграда, Детский отдел Госиздата, детство дочери, "заклятый друг" Николай Олейников, Первый (1934) и Второй (1954) съезды писателей, коллеги-писатели и жизнь в "писательской надстройке", убийство Кирова, "чума" 1937 года, финская война, детство Наташи и Никиты Заболоцких, блокада, эвакуация и возвращение, кошки и собаки как члены семьи и т.д. Каждая заслуживает внимания, обратимся пока лишь к некоторым.

Драма взросления

Основная тема первой части подробной, по годам, месяцам, иногда даже по дням, автобиографии – драма взросления. Шварц хорошо понимал, что это именно драма, поэтому и употребил в рассказе несколько раз одно из своих любимых определений – "роковой": *"Детство и молодость – время роковое. Угаданное верно – определяло всю жизнь. И ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь"* (4.5. 1952 – I, 384-385).

При записи происходит процесс осознания многих событий, собственных и чужих поступков, характеров: *"...как я смутно понимал тогда и ясно понимаю теперь"* – 14.9.1951 (I,

254); “Как я теперь соображаю...” - 30.11.1951 (I, 302); “...расскажу и, как всегда, теперь пойму многое из того, что пережил, только припомнив и записав” – 4.2. 1951 (I, 340).

Шварц довольно строго относится в дневнике к самому себе, пытаясь понять и определить свою личность, её истоки, что никогда не было легким делом. Приведу те из его высказываний, которые неоднократно возвращаются к теме, приблизительно и условно сгруппировав их по душевным свойствам и качествам.

Неуверенность в себе: “...стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества <...> вытекающее отсюда желание нравиться” (29.9.1950 – I, 57); в 9 лет “...я считал себя ничем” (25.2.1951 – I, 131); “...я приобрел привычку, с которой борюсь до сих пор: сказав что-нибудь, заглядывать в глаза собеседнику, чтобы увидеть, какое впечатление произвели мои слова, или, что еще хуже, с улыбкой оглядывать всех, даже посторонних...” (1.10.1950 – I, 58); “...без людей я жить не мог, хромал без поддержки...” (21.10.1951 – I, 277); “Я зависел от людей” (5.8.1952 – I, 438).

Именно с неверием в себя связано отношение к славе (Шварц анализирует и “простое”, как к добыче, отношение к славе “настоящих Шварцев” – семьи отца, и “сложное” по-русски, как он полагает, восприятие славы в рязанской семье матери): “... я стал, не помню с каких пор, считать славу высшим, недостижимым счастьем человеческим. Лет с пяти” (26.9.1950 – I, 54); “Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими. Так это и осталось доньше” (15.10.1950 – I, 65); “...я унаследовал недоверчивое и мрачное мамино честолюбие...” (9.9.195 – I, 250); “Я хотел славы, чтобы меня любили” (18.12.1951 – I, 313); в 16 лет “...незначительность, немасштабность моя подчеркивалась слишком уж явной жаждой успеха <...> Я старался не победить, но очаровать” (23.3.1952 – I, 313); в 18-19 лет “я <...> хотел нравиться – только нравиться, во что бы то ни стало” (19.12.1952 – I, 523).

Стыд, скромность, застенчивость: “Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Нет, не первую, конечно, но огромную. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд утрашающий...” (20.11.1950 - I, 77-78); “Только теперь, в пятьдесят пять лет, после долгих упражнений, ежедневных упражнений научился я более или менее открыто рассказывать о себе” (21.2.1952 - I, 353); “...мне кажется, что писать о моем отношении к женщинам в те дни достаточно. Что это нескромно, что это за пределами даже той безыскусственности и открытости, которым я учусь последние годы” (24.3.1952 - I, 374).

Слабость характера (как считал сам Шварц): в 12-13 лет “я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно – всякий угадывал, что я не силен” (6.7.1951 - I, 210); в 15 лет “я плакал от бессилия, оттого что не в силах был доказать, что не так ничтожен...” (22.3.1952 - I, 373); в 16 лет “...друзья отвернулись от меня. Зрелище слабости моей отвратило их” (19.8. 1952 - I, 449); в 18-19 лет “куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя...” (19.12. 1952 - I, 523); “...в середине двадцатых годов, измученный друзьями, которые <...> за слабостью моей не хотели видеть, в чем я силен...” (17.12.1952 - I, 521).

Способность отвлекаться от неприятностей: “Я был бессознательно не то, что лжив, а уклончив и неясен” (19.7.1951 - I, 220); “...я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души (а может быть, загонять на самое дно) то, что невыносимо, слишком тяжело. При слабости, непоследовательности моей мыслительной системы это было просто” (28.7.1951 - I, 222); мой “врожденный дар - делать вид, что все по-прежнему, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью...” (21.10.1951 - I, 277); “...наши тяжелые, бестолковые майкопские споры, из-за которых я возненавидел, вероятно, споры на всю жизнь” (22.11.1951 - I, 296); “Я со своим страхом боли...” (16.8.1952 - I, 446).

Трудность заставить себя работать: “В меня тогда уже всосался этот невидимый клещ, отнимающий волю. Волю к труду <...> Это было особое, вероятно, болезненное состояние. Во всяком случае ощущение тоски, беспорядка, какое испытываешь во время, скажем, бессонницы, я испытывал, уклоняясь от этой несчастной работы. Мой демон уводил меня против моего желания...” (11-12.12.1951 – I, 310); “Бездеятельность моя, видимо, пугала меня уже и тогда и ужасала лень” (22.3.1952 - I, 373).

Отношение к вере: “Бог <...> был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами”, и одновременно сам 14-15-летний Шварц и его друзья были “яркими врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. А я еще и молился. И был суверен до крайности” (15.12.1951 - I, 313); “Я не верил, но потребность в вере, в цели, в мирозерцании у меня была сильна” (20.3.1952 - I, 372).

Веселость: в 9 лет “я был <...> весел, общителен, ненавидел одиночество, искал друзей” (25.2.1951 - I, 131), в 16 - “...я был весел, и не просто, а безумно весел, и часто заражал этим свойством моих друзей” (15.7.1952 - I, 422); “Безумно веселый, все понимающий и ничего не понимающий, стою я на пороге жизни...” (27.7.1952 - I, 431); в 1921 г. “Я был <...> весел, весел до безумия...” (19.12.1952 - I, 523).

Уверенность, что собственное душевное развитие опережает умственное: в 9 лет “если я научился чувствовать и воображать, то думать и рассуждать совсем не научился” (25.2.1951 – I, 131-132), в 16 лет “...я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь” (12.7.1952 - I, 419); “...меня осенило - таков был мой излюбленный способ мыслить, я хотел сказать - единственный способ думать в те дни” (19.7.1952 - I, 425); “...я был в каком-то смысле <...> умственно бессильным человеком” (31.7.1952 - I, 434).

Отношение к первой любви, которая “воспитывала меня сильнее училища и дома”: “Если бы Милочка была другой <...> был бы и я другим. И всю жизнь влюблялся бы иначе <...> я без этой любви не привык бы считать праздник обыкновенным состоянием человека” (7.1.1952 - I, 323); “...поняв, познав силу и прелесть, и праздничность влюбленности и поэтической мечтательности...” (26.4.1952 - I, 380).

Наверное, это восприятие праздника как “обыкновенного состояния человека” – один из истоков шварцевских сказок.

Но в дневнике присутствует и давшийся автору с трудом (“надо перепрыгнуть через это”) рассказ о физической стороне взросления: в “роковое” лето 1908 г. “произошло нечто, потрясшее меня уже до самых основ всего существа <...> Я вдруг пережил внезапно <...> остро, до страдания всем телом, то, что переживается при любовных встречах”. Удивительно рассказанное далее: “И едва все прошло, как я подумал отчетливо, внезапно и без малейшей предварительной умственной работы: “Надо написать стихотворение” (4.7.1951 – I, 208). Мысль о стихах “была последним чудом” кончавшегося детства (6.7.1951 – I, 210), и при этом стихи оказались связаны с интимнейшими переживаниями: “Я стал писать <...> из неудержимой загадочной, связанной с физиологическими явлениями жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе <...> я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи. И <...> литературную работу я до сих пор, при всем моем уважении к профессиональности, считаю еще и делом глубоко, необыкновенно глубоко личным” (19.8.1951 – I, 237).

Из честности перед собой Шварц рассказал и о том, что его соблазнила на каникулах взрослая дама (ему не хватало 3 месяцев до 15 лет): “Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить...” (13.2.1952 – I, 347), - и о последующих связях с домашней прислугой. Он уверен в том, что “рассказывать о молодости и скрывать эту сторону жизни все равно, что ничего не рассказывать”, и потому не скрыл свою двойственность в отношении к

женщинам: *“Я <...> любовь ощущал как нечто совершенно особое, не имеющее отношения к греху”* (6.6.1952 – I, 402-403).

Рядом с “роковыми” чувствами описано и главное из *“необратимых, неизменяемых душевных свойств”* – *“восторженное состояние духа, когда за туманом неясно чувствуешь, предчувствуешь прекрасное. И связанная с этим состоянием духа мечтательность, никогда в жизни не покидавшая меня...”* (16.3.1952 – I, 369).

Прошлое не “пережито” автором, оно осталось в составе души, личности: *“То, что выросло, выстроилось или разрушилось в моей душе в те дни, не умерло и не восстановилось и по настоящий день”* (15.7.1951 – I, 217); *“... наступил один из тех счастливых и печальных периодов роста, когда чувствуешь, что живешь, и на всю жизнь сохраняешь в душе цвет, смысл, дух этих дней. До сих пор я вдруг ощущаю иной раз то время”* (17.9. 1951 - I, 256); *“...прошлое не вспоминается, а воскресает во мне и теперь”* (27.7.1952 - I, 431). В том числе и люди.

Люди, стоявшие не слишком близко – одноклассники, соседи, знакомые – описываются Шварцем прекрасно, легко, несколькими точными штрихами. Вот, например, Милочка Рейнова, *“гимназистка старшего класса, умненькая, не по-майкопски воспитанная, по-девически внимательная ко всему миру, немножко слишком полная, немножко слишком приземистая, черноглазая, большеглазая, все понимающая девочка”* (1.8.1952 - I, 435); или ветеринарный врач в Майкопе: *“Это был тяжелый, большой мужчина с узким, высоким лбом, большими щеками, губастый и суровый. Ходил он в военной форме <...> Он поразил <...> умением гадать по руке. Верой в дьявола”* (22-23.2.1951 - I, 129).

Таких замечательных портретов в воспоминаниях множество, что говорит и о мастерстве, и о великолепной памяти Шварца. К описаниям близких друзей и родственников писатель возвращается неоднократно, это портреты в движении, во времени, они не так легки, ясны и однозначны, как только что приведенные.

Шварц делает много психологических наблюдений не только над собой, но и над сверстниками, выводит общие законы взросления, особенно мальчишеского: называет “изгнанием из рая” расставание с ранним детством, а потом – и с детством вообще; замечает, что *“переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже”* (1.10.1950 - I, 59); пытается прикоснуться в рассказе к *“безумию в душах маленьких чудовищ”* (1.5.1951 - I, 167), имея в виду 9-10-летних учеников реального училища, и делает вывод, что *“человек после семи-восьми лет растет, как болеет, особенно это заметно на мальчиках”* (29.4.1951 - I, 166); поражается: *“Удивительное свойство было у*

взрослых – предполагать, что мы слепы и глухи как раз в тех случаях, когда внимание наше напрягалось до предела” (6.7. 1951 - I, 210).

Воспоминания Шварца о своем детстве имеют, кроме биографической и художественной, еще и документальную ценность. Подробно описан маленький окраинный город Майкоп 1902-1916 годов, митинги и отряды самообороны в 1905-1906 гг., провинциальная жизнь в Екатеринодаре, Ахтырях на Азовском море, Рязани, Жиздре (в Калужской губернии), на курортах в Туапсе, Сочи, Адлере, Красной Поляне, материальные приметы этой жизни: *“машина с колесами, изготовлявшая зельтерскую воду. Колеса эти, помню, вертели вручную” (25.4.1951 - I, 164)⁵⁸, “летняя шляпа, похожая на английский колониальный шлем, известная у нас под именем “здравствуй-прощай” (20.8.1951 - I, 238), игрушки, “электробиограф”, как назывался в Майкопе кинематограф (I, 192) и т.д.*

Начиная писать воспоминания в 1950 г., Шварц не знал, закончит ли их, справится ли с задачей, и поставил себе очень трудные условия: писать только правду, ничего не скрывая и не пропуская (*“Мне все кажется, что если я не назову всего, то упрощу то, что было” (9.12.1951 - I, 309), не зачеркивать, не исправлять (“Зачеркивать, переписывать и обрабатывать по условиям, что я поставил сам себе, не разрешается” – 9.9. 1947⁵⁹; “Я запретил себе зачеркивать, чтобы сохранить первое высказанное” – 9.12.1951 (I, 309), не быть литературным (“Эта литературность оборотов меня приводит в отчаяние, говоря литературно” – 10.2.1952 (I, 344), писать просто.*

Во многих записях повторяются мотивы профессиональной неумелости: *“пишу как бормочу” (29.8.1950 - I, 32); “Я не умею описать <...> цирка шапито <...> Я отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Овладевший мною год назад страх, что я глухонемой, не напрасен” (5.10.1950 - I, 61) ; “...перед этим простым воспоминанием у меня руки опускаются” (3.11.1950 - I, 73); “Я не представлял себе, как я мучительно не умею писать <...> Но мечта поймать правду, заставляющая меня быть столь многоречивым, желание добраться до самой сердцевины, нежелание быть милым и литературным толкает в шею” (26.11.1950 - I, 79); “...мне трудно выразить самые простые вещи” (6.12.1950 - I, 83); “О глухота и немота!” (25.9.1951 - I, 263); “Ну, ладно, довольно бормотать, попробую говорить” (1.10.1951 - I, 263); “не умею описать его” (мост - Е.Р.) - 12.10.1951 (I, 271-272); “Как я*

⁵⁸ Зельтерской (сельтерской) называли в России в XIX-начале XX вв. и обычную газированную воду.

⁵⁹ Живу беспокойно... – С. 5.

ужасно пишу” (10.2.1952 - I, 344); *“Мое умение рассказывать не развивается...”* (6.7.1952 - I, 415); *“...никак не могу добиться той свободы, когда слова сами идут под руку, не овладел я прозой за два года <...> пишу я все так же небогато”* (11.7.1952 - I, 419); *“Нет, я все-таки глухонемой <...> лето 1913 года <...> я не умею записать”* (25.7.1952 - I, 429).

Шварц понимает то, что “взрослыми” словами не передать по-настоящему детские ощущения: *“...я теряюсь, пробуя передать точно, что было пережито тем, другим, которым я был в 1908 году”* (6.7.1951 - I, 209); *“Как ни стараешься писать точно, непременно приврешь”* (18.10.1951 - I, 275); *“Многое из того, что пережито сорок один год назад, я не мог бы описать тогда”* (18.11.1951 - I, 293).

С другой стороны, он упрекает себя в недостатке художественности: *“...иной раз мне кажется, что я страдаю как раз недостатком литературности и стараюсь избегать того, чего нет”* (9.12.1951 - I, 309); *“Буду писать, как писал: старательно и застенчиво, то есть холодно”* (26.4.1952 - I, 380); *“Не хватает мне средств для того, что я хочу рассказать”* (11.7.1952 - I, 419); *“...я пишу немзыкально”* (2.8.1952 - I, 436).

В первых частях своей прозаической книги Шварц, действительно, не литературен (позже это изменится). Он пишет, в основном, короткими предложениями, сравнений немного, и они просты (река клубится, “как бешеная”; скала крутая, “как стена”; лом, вбитый в скалу, кажется “тоненьким, как спичка” - I, 271). Часто используется инверсия: *“И вот пришло время нам уезжать”* (I, 285), определения стоят после определяемого слова: *“сон, непобедимый, сладкий”* - I, 267; *“Наша дача выходила на участок очень обширный...”* - I, 281 и т.п. Примеров так много, что это следует считать особенностью стиля Шварца. Сложные (двухкоренные) определения, так любимые писателем в “Телефонной книжке”, в 1950-52 гг. еще мало используются: *“лживоспокойные, лживодостойные лица”* актеров (I, 263), *“огромноголовый”* знакомый (I, 387) и по поводу себя – *“знаниефобия”* (I, 440). И Шварц почти не пользуется своим самым главным оружием – юмором, отчего его прозаическая книга при первом чтении удивляет.

Сам автор оценивает свой *“беспомощный, но добросовестный рассказ о себе”* очень строго: *“Получилось вяло от желания быть правдивым...”* (6.10.1954 – IV, 167).

Городской сюжет

1

Петроград-Ленинград

1914-1924 годы

Ленинградский писатель Евгений Львович Шварц не был ленинградцем по рождению, он вырос в южном городе Майкопе, *«простом и не загадочном»* (25.12.1952 – I, 528), но «душа Петербурга», кажется, приоткрылась ему за долгие годы знакомства.

Первый период этого знакомства, совпавший с десятилетием, когда город именовался Петроградом, неоднороден. В 1914-15 гг. Шварц всего трижды приезжал сюда из Москвы, затем следует шестилетний перерыв, включивший в себя исторические потрясения, о которых, впрочем, в мемуарах почти не говорится, а с 1921 г. будущий писатель становится петроградцем.

Москва, о которой в семье писателя говорилось «ласковее», чем о Петербурге (27.9.1950 – I, 54), не приняла 17-летнего Женю Шварца, приехавшего в 1913 г. учиться, он «не прививался» к ней (25.11.1952 – I, 505).⁶⁰ Тоска любви и «московская тоска» погнали Шварца в сентябре 1914 года в столицу, только что переименованную. Первые впечатления сформулированы неярко (правда, через 38 лет): перечислено несколько главных топов – Невский, Нева, Сенатская площадь; названы улицы, где жили майкопские друзья, отмечена хорошая погода – *«Солнце светило, к моему удивлению»* (в «Телефонной книжке» сформулировано еще точнее: *«В нарушение всех традиций, городские крыши были освещены солнцем»* (5.1.1956 – ТК, 310)⁶¹). Душа юноши, занятая несчастливой любовью, откликнулась городу: *«...скоро почувствовал в самой глубине, в трезвой и неподкупной глубине: да, это не Москва. Я еще не понимал, в чем дело, но чувствовал новый город»* (28.11.1952 – I, 507).

Город требовал осмысления: Нева – *«Я как-то не понял ее из трамвая по дороге с вокзала»*, Большая Морская улица – *«Богатство, как всегда в России, будило чувство неловкости»*,

⁶⁰ Об ощущении Москвы 1913-1916 гг. см. I, 451-472, 504-506 и др., а также: ТК, 510-511.

⁶¹ Ср. в воспоминаниях Н. Чуковского о Шварце: «Петроград больше всего поразил его своей солнечностью»/ *Чуковский Н. Высокое слово – писатель// Житие сказочника...* – С. 255.

Зимний дворец – *«Дворец глухого красного цвета не очень понравился мне. Статуи на крыше, казалось, толпятся и не связаны со зданием»* (28-29.11.1952 – I, 507-508). И молодой человек уже не только *«ясно почувствовал своеобразие города»*, но в нем зародилось *«смутное чувство, что этот город не чужой, что и он принимает меня»* (I, 508), в отличие от Москвы.

В Петрограде в следующий приезд Шварца произошло крушение его мучительной любви – *«и улицы, и город лишились значительности, не обещали мне большие счастья»* (5.12.1952 – I, 512), но выделились памятные по испытанным там чувствам места: Васильевский остров, где жила Милочка Крачковская, первая любовь, и где *«в Румянцевском сквере на угловой скамейке»* велись разговоры с лучшим другом, пропавшим потом без вести на фронтах Первой Мировой или Гражданской войны. Сюда Шварц возвращался многократно: *«...поселившись в Петрограде, я бродил в тоске по Васильевскому острову, по знакомым местам»* (17.12.1952 – I, 521), *«Уходил я иногда на Васильевский остров, чтобы поглядеть на тот дом, на окна во дворе, за которыми жила за шесть лет до этого Милочка»* (16.10.1953 – II, 44), и в дневнике 1952 г. записал о скамейке Румянцевского сквера: *«Теперь эта скамейка – моя любимая»* (I, 522).

Парадный Петроград 1914-15 гг. остался чужим: не удалось попасть к пасхальной заутрене в Исаакиевский собор, т. к. площадь окружила полиция, пускавшая по пропускам, и *«хозяева города казались чуждыми, и не было в их пышности хотя бы декоративности»*, а в памяти остались *«в тумане сырой ночи факелы»* (I, 522) и только.

В октябре 1921 г., *«века спустя»* (I, 521), *«пережив несколько жизней»* (7.1.1956 – ТК, 312), Шварц снова оказался в Петрограде артистом Ростовской Театральной мастерской, прибывшей по вызову Николая Гумилева, к ее приезду уже расстрелянного. Так, почти случайно (переезд в Петроград мог не состояться по множеству причин, да и по дороге хотели обосноваться в Москве), Шварц стал ленинградцем.

На этот раз путь в Петроград был долгим, и будущий писатель успел разглядеть тот *«чужой край»*, в который переселялись южане: *«Все казалось чужим, хоть и не враждебным, как в Москве, но безразличным. Этому бревенчатому северу не до нас, самому живется туго»* (30.9.1953 – II, 33). Первым встретил Шварца в Петрограде Николаевский вокзал, *«знакомые, крытые стеклом своды»*, но он *«выглядел потемневшим и словно обожженным»* (ТК, 312). Так же изменился и город: *«...шагая по Суворовскому, испытывал я*

<...> *смутное разочарование <...> Петрограду, потемневшему и притихшему, самому туго*, поэтому *«тут житья будет не так легко и просто, как чудилось»* (30.9.1953 – II, 33-34).

У города появилось новое для Шварца «выражение», прежние его впечатления существовали «как во сне»: знаменитая «башня» Вячеслава Иванова *«казалась такой же древней и ничего не напоминающей, как Петроград моих студенческих лет»* (8.1.1956 – ТК, 312), Невский стал *«незнакомым, не враждебным, но потемневшим и обедневшим»* (1.10.1953 – II, 34), и весь город *«казался темным, как после тифа, еще в лазаретном халате»* (II, 33). Несколько раз Петроград назван темным, и связано это, вероятно, не только с отсутствием освещения в сравнении с дореволюционной жизнью, но и с неясными – темными – общими и личными перспективами.

Нужно было привыкать к городу, находить в нем свое место. С тех октябрьских *«дней стал Петроград <...> родным городом»* (ТК, 312) для Шварца, поэтому как любой горожанин – не турист – он описывает быт, достопримечательности отходят на полагающееся им привычное место, они присутствуют фоном, названием, но не являются новостью и не требуют описания и оценки. В холод, темень и голод петроградской осени 1921 года квартира важнее улицы, да еще для семейного человека, поэтому в воспоминаниях описаны квартиры, а не памятники архитектуры.

Первым жильем артистов Театральной мастерской оказались «огромные, светлые, но холодные» комнаты бывшей «палкинской гостиницы» в *«темно-шоколадном домине на углу»* (II, 34) Владимирского и Невского⁶². По темной лестнице попадали *«в просторную кухню с соответствующей плитой. Из нее в коридор»* (2.10.1953 – II, 35), – такое расположение было обычным, т. к. большинство парадных в Петрограде было заколочено. Гаянэ Холодова, первая жена Шварца, вспоминала их жилье: *«Нам отвели общежитие – большую комнату на втором этаже <...> Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход. Он назывался Бродвеем <...> Посредине комнаты стоял большой стол <...> а на нем – графин с замерзшей водой. Было ужасно холодно. Ложились спать с горячим утюгом, и все равно мерзли»*.⁶³ Топили дровами, а не каменным углем, как в Ростове, и готовили не на огромной плите, а на

⁶² Адрес дома – Невский пр., 47. Здание нач. XIX в., в 1874-1917 гг. здесь находился ресторан "Палкин" (династия трактирщиков, открывших первый трактир в СПб. в 1785 г.), в 1924-1991 гг. – кинотеатр "Титан", с 1997 г. снова открыт ресторан "Палкин".

⁶³ Холодова Г. Чистая душа // Житие сказочника... – С. 190.

примусах. Даже некоторые продукты оказались новыми для Шварца, например, репа, увиденная первый раз в жизни, и рынки в городе (а не базары, как на юге) тоже удивляли, были *«не по-ростовски угрюмыми»* (29.9.1953 – II, 33).

Настоящей напастью были крысы, завоевавшие в начале 20-х весь город: они бегали по «палкинской гостинице», несмотря на устраиваемые им *«ловушки из наших пудовых дров»* (3.10.1953 – II, 36), в магазине на Невском *«дрались за огромными витринами окон так ожесточенно, что останавливались прохожие»*, бесчинствовали в квартире директора Музея Революции М.Б. Каплана на Невском, где из-за них *«вечно дребезжала посуда, что-то падало с грохотом или пробежала крыса через большую комнату и скрывалась под книжной полкой. И при этом не слишком спешила»* (24.5.1955 – ТК, 124-125). Недаром в 1920 г. именно в Петрограде возник у Александра Грина замысел его рассказа «Крысолов»⁶⁴, действие которого разворачивается в городе, в том числе в здании пустующего банка рядом с Домом Искусств, в котором Шварц начнет бывать с осени 1921 года.

Петроградский быт сложился тяжелый – голод⁶⁵, холод, нищета (у Гаянэ Холодовой не было туфель), неустройство: в доме, где находилась вторая по счету петроградская комната, «длинная, угнетающая» с буржуйкой и балконом, выходящим на Невский, не работали канализация и водопровод. Подробности помнятся отлично и через 32 года: *«Одна из комнат была отведена для ведер, заменяющих уборную. Бидон из-под масла заменял у нас таковое <...> Я по черной лестнице спускался с пятого этажа, нес его во второй двор. Здесь в углу помещалась обледеневшая общественная уборная <...> в стороне был кран, к которому ходил я за водой»* (13.10.1953 – II, 42). Холод был такой, что в комнате лопнул графин с водой.

И в описании здания, где играла Театральная мастерская, на первом месте стоит определение «холодный»: *«Дом на Владимирской, 12, холодный и огромный, с нелепым фойе, как бы вылепленным из грязи, изображающим грот, и с целым рядом фойе, ничего не изображающих, с небольшим театральным залом и такой же сценой»* (4.10.1953 – II, 36). Один

⁶⁴ Рассказ "Крысолов", напечатанный впервые в журн. "Россия" № 3(12), 1924, начинается словами: "Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, - дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов..." (Грин А.С. Собр. соч. в 6 тт. – Т. 4. – М., 1965. – С. 358).

⁶⁵ Из воспоминаний Гаянэ Холодовой о жизни в бывшей "палкинской гостинице": "Время было голодное, и Рафа Холодов кричал: "Ну, кто бросит на Бродвей" (проход между двумя рядами кроватей в комнате-общежитии – Е.Р.). Тогда то один, то другой бросали – кто пряник, кто сухарь, кто что. И они со Шварцем ловили и ели". (Холодова Г. Чистая душа // Житие сказочника... – С. 190).

из артистов отморозил на сцене палец, театр *«вымораживало из Владимирской, 12»* (22.1.1953 – II, 80), и он в конце концов распался, дожив только до весны 1922 года.

Кроме *«многокомнатного и ненавистного»* (11.10.1953 – II, 41) Шварцу здания театра, он описывает и другие, во-первых, знаменитый Дом Искусств (ДИСК) со *«сложными коридорами и переходами»* (26.1.1953 – II, 82), комнатами *«со следами былой роскоши»* (5.10.1953 – II, 37), *«атласными обоями и цветными колоннами»* (23.1.1953 – II, 80), пневматическими креслами и скульптурами Родена в гостиных.⁶⁶ На обстановку смотрел Шварц *«с недоверием и отчужденностью»* (II, 80), главным была атмосфера, *«более живая»* и *«менее враждебная, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде»* (25.1.1953 – II, 81), и литераторы: Мариэтта Шагинян, требовавшая от молодых писателей *“Heilige Ernst”* (*“святой серьезности”* – II, 85), пленившая Шварца с первой встречи Ольга Форш, *«серапионовы братья»*, с многими из которых дружба сохранилась на всю жизнь.

И через 30 лет прекрасно помнится очень многое – те черты и черточки, что передают чувство времени и места: комната Михаила Слонимского, где *«обсуждали друг друга молодые»* писатели, а хозяин *«слушал чтение почти всегда лежа»* (30.1.1953 – II, 85)⁶⁷; розыгрыши Льва Лунца и предания о попытке Александра Грина задушить соперника в любви М. Слонимского и об их же чудесном выигрыше в лото; поэт В. Пяст⁶⁸, стоявший на одной ноге, пока его не увозили в больницу; вопли Фаины Афанасьевны Слонимской⁶⁹, славившейся *«на весь город своим нравом, точнее – норовом»* (II, 82); бывший слуга, похожий на последнего царя, который бросился вниз с крыши особняка, жители и посетители Дома и постоянно упоминаемые недосыгаемые его *«глубины»*.

⁶⁶ Ср. в восп. В. Ходасевича "Диск" (1939): "Под "Диск" были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами <...> третье составляло квартиру домовладельца <...> Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр "Диска". Здесь был большой зеркальный зал <...> К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин почему-то питал пристрастие, – этих Родэнов у него было несколько" (Ходасевич В. "Диск" // Ходасевич В. Некрополь. – М., 2001. – С. 306).

⁶⁷ Ср. у В. Ходасевича: в комнате Михаила Слонимского "была постоянная толчея <...> Тут была колыбель "Серапионовых братьев", только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть – на кровати хозяина, прочие – на полу. От курева нельзя было продохнуть" (Ходасевич В. "ДИСК" // Ходасевич В. Некрополь. – М., 2001. – С. 308).

⁶⁸ Пяст Владимир Алексеевич (наст. фамилия Пестовский, 1886-1940) – поэт-символист, литер. критик, переводчик, друг и биограф А. Блока, с которым прервал отношения после выхода поэмы "Двенадцать". Страдал психическим заболеванием.

⁶⁹ Слонимская Фаина Афанасьевна, урожд. Венгерова (1857-1944) – сестра проф. Венгерова, историка литературы и библиографа, жена Людвиг Слонимского, редактора "Вестника Европы". В 1870-е гг., будучи студенткой, посетила Ф. Достоевского, описана в романе М. Слонимского "Лавровы". Эмигрировала в Германию, затем во Францию.

О себе в ДИСКе Шварц почти не пишет, зато его запомнили другие – Ольга Форш изобразила его под псевдонимом Геня Чорн в романе о Доме Искусств «Сумасшедший корабль» (1930), М. Слонимский описал в воспоминаниях знаменитые «капустники»: *"Вместе с Зоценко и Лунцем он (Шварц – Е.Р.) сочинял сценарии и пьесы, которые потом разыгрывались под его водительством в одной из гостиных Дома искусств <...> Шварц вел эти вечера как режиссер, конферансье, актер, автор. Появились боевики: "Фамильные бриллианты Всеволода Иванова" – замысловатая пародия на авантурные фильмы, "Женитьба Подкопытина", где под гоголевские характеры Шварц ехидно подставлял нас"*⁷⁰. Кстати, оба писателя сравнивают Шварца с Крысоловом: *"Геня Чорн – импровизатор-конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова», – пишет О. Форш*⁷¹; дети *«ходили за ним (Шварцем – Е.Р.) толпой. Он мог бы, как сказочный Крысолов повести их куда угодно»*⁷², – вторит М. Слонимский. ДИСК был главным петроградским адресом Шварца в 1921-23 гг., когда он *«чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы»* (II, 85)⁷³.

В Петрограде Шварц впервые в жизни попал во дворец, *«дворец вообще как таковой»* (21.5.1955 – ТК, 121). Первым оказался дворец Белосельских-Белозерских на Невском, в те времена называвшийся "дворец Нахимсона" (сочетание, свойственное эпохе)⁷⁴. С изумлением описаны Шварцем *«высокие, свыше человеческой меры, ближе к церковным стены», «драпировки неиспытанной вышины»* и особенно смущающий *«круглый, сооруженный посреди комнаты <...> диван не диван, тахта все в той же драпировке и с усеченным конусом посреди круглой спинки», – а люди среди всего этого великолепия «все в валенках и шубах», и рядом с канделябрами и бронзой «буржуйка у стены, у которой мы и спасались»* (21.5.1955 – ТК, 121).

Другие «дворцовые ощущения» связаны с Зимним дворцом, но описанном в особом ракурсе – не парадные залы и не Эрмитаж, а Нарышкинские комнаты, отведенные Музею Революции. Идти туда надо было по Фрейлинскому коридору – *«длинному, широкому и необыкновенно, воистину по-дворцовому высокому. Казался он мрачноватым и темноватым, и недоброжелательным», а Нарышкинские комнаты, «странно просторные и неслыханно*

⁷⁰ Слонимский М. Вместе и рядом // Житие сказочника. – С. 198.

⁷¹ Форш О. Сумасшедший корабль // Житие сказочника. – С. 196.

⁷² Слонимский М. Вместе и рядом // Житие сказочника. – С. 200.

⁷³ О Доме Искусств существует много воспоминаний, см. обзор в примеч. М. Безродного к публикации очерка В. Ходасевича "Поездка в Порхов" // Литер. обозрение, 1989, №11. – С. 110; *Тимина С. И.* Культурный Петербург: ДИСК – 1920-е годы. – СПб., 2001

⁷⁴ Нахимсон Семен Михайлович (1885-1918) – участник рев. движения в России, военный комиссар Ярославского округа, убит в начале Ярославского восстания, похоронен на Марсовом поле в Петрограде. Его имя носили Владимирский проспект и площадь в Петрограде-Ленинграде с 1918 по 1944 г.

высокие», выглядели «словно обычное советское учреждение» (20.10.1953 – II, 45-46). В другом месте охарактеризованы огромные «дворцовые пространства» как «местности», через которые приходилось «пробираться», и вспомнилась деталь, малоподходящая Музею Революции – комнаты «обтянуты были обоями с цветочками. Не бумажными – матерчатыми. Атласными. И мебель тоже» (25.5.1955 – ТК, 126). Но все же «чувство истории иной раз охватывало» посетителя в этих дворцовых «местностях», «и отчетливей всего сознавал ты не случайную, музейную, а умышленную отвлеченность дворца», построенного «для существ абстрактных, некомнатных» (28.5.1955 – ТК, 129). В шварцевских описаниях петербургских дворцов подтверждается сказанное им по поводу литературных вкусов: «Я вырос иначе, в маленьком городе» (31.1.1953 – II, 85).

Несколько страниц о Музее Революции содержат и рассказы о «бывших» людях: о дворцовых лакеях *"с достойными боролатыми лицами"*, которые остались на службе, главным из них «рыжем и разбитном» Золотове, *«единственном и незаменимом знатоке проводки Зимнего дворца»*, который *"бороду уже побрил"*, утратив *"всякую степенность"*, и охотно рассказывал о царях, вставляя в конце *«фразы, вроде: «Тут бы мне и пальнуть им, гадам, в спину»* (20.10.1953 – II, 46); о самом старом лакее, потрясенном тем, что для приема американских анархистов столы накрывают «глаголем», а не «покоем», чтобы подать *«морковный чай с леденцами»* (23.10.1953 – II, 47). А рядом с ними другие старики – народовольцы, *«уверенные, спокойные, многие в ореоле седых волос»* (II, 46).

Все эти не похожие друг на друга люди населяли Петроград начала 1920-х гг. И жилье их тоже было разнообразным: Золотов жил *«на улице Халтурина у самого дворца. Маленькие комнаты с перегородками, не достигающими до потолка, оклеенные обоями»* (22.10.1953 – II, 47), а Михаил Борисович Каплан – в «большой квартире» знаменитого военного портного, его отца, *«в бельэтаже на Невском, 74»*, и чудо состояло в том, что жил он в ней со дня рождения. Время было бездомным и неустойчивым настолько, что Шварцу, жившему в том же доме в описанной уже «унылой» комнате с ведрами вместо туалета, *«казалось в те дни, что самый авантюрный роман в этом и должен заключаться: человек родился, состарился и умер в одной и той же богатой квартире в Москве или Ленинграде. Нужно удивительное стечение обстоятельств для того, чтобы это могло случиться»* (21.5.1955 – ТК, 122).

Автор отметил и то, что в хозяине квартиры сказывался *«человек десятых годов»* «отношением к Петрограду», и через описание проглядывает нигде не сформулированное

Шварцем прямо его собственное восхищение городом: *«В те годы словно прозрели и с восторгом открыли, что город прекрасен. Куда исчезли вечные жалобы «небо серое, как солдатское сукно». «Холодные казенные здания, выкрашенные казенной желтой краской». Исчезло вместе с прежними владельцами города чувство отчужденности и враждебности»* (26.5.1955 – ТК, 127).

Шварцы постепенно вживались в Петроград, а весна 1922 года принесла не только распад Театральной мастерской, но и тепло. Стало возможно выходить на балкон (кстати, находящийся на крыше «фонаря» – эркера, описанного также с удивлением провинциала) и смотреть на Невский, *«все еще темный и как будто ошеломленный»* (15.10.1953 – II, 44). С балкона же было замечено удивительное происшествие: напротив, *«у штакеншнейдеровского дворца»* (т. е. того же дворца Нахимсона, построенного архитектором А.И. Штакеншнейдером – Е.Р.), *где находился райком партии, провалился автомобиль – «Куда? Да просто в Невский проспект. Канализационные трубы давно лопнули, размытый грунт не выдержал тяжести». Но все же город менялся, «Невский оживал с каждым днем <...> Вымытые витрины сияли»* (16.10.1953 – II, 44) – нэп входил в жизнь.

Приходилось зарабатывать, и Шварц грузил со студенческими артелями уголь в порту, работал в депо Варшавского вокзала, и эти «объекты» вошли в карту *его* Петрограда 1920-х гг. Хотя город поначалу он знал плохо и, возвращаясь впервые с Антоном Шварцем из Дома Искусств по Гороховой вместо Невского, думал, что улицы эти параллельны, а не расходятся лучами, *«и совсем затосковал»*, потому что трамваи не ходили и *«уж мы шли, и шли, и шли»* (6.10.1953 – II, 38).

Основными адресами, кроме ДИСКА, в 1921-23 гг. были для Шварца театры – он еще считался артистом. Мелькнуло несколько однодневок: театр миниатюр, так и не открывшийся в кинотеатре «Молния» на «полумертвом» Большом проспекте Петроградской стороны, живая газета РОСТА, Загородный театр в казармах Семеновского полка, где Шварц пел в «хоре тети Моти» (14.6.1952 – II, 59). Бывший кинотеатр в 1921 г. *«казался необитаемым, деревянная белая молния на стене почернела, а от лампочек, что некогда судорожно вспыхивали на ней, сохранились одни патроны»*, – и Шварц, выходя из *«унылого театра»*, где из-за холода репетировали в пальто, вспоминает, *«как бегала красная молния по*

стене кинотеатра» (9.10.1953 – II, 39) раньше⁷⁵. В Загородный театр, несмотря на участие знаменитостей, «публика шла туго» (II, 48) и «театр просто горел» (25.10.1953 – II, 49)⁷⁶.

Следующим в 1922-23 гг. стал Театр новой драмы, куда приняли Холодову и «заодно не то зачислили в труппу» Шварца, не то он «сам зачислился» (11.11.1953 – II, 50). Театр объединял молодых режиссеров, артистов, художников, «близко к театру стояли» А.Я. Бруштейн⁷⁷ и А. Пиотровский⁷⁸. Здесь было интересно, «театр был на подъеме, не умер и не рассыпался» (II, 50), а напротив, получил помещение на Моховой улице, в одном из залов Тенишевского училища⁷⁹. Шварц много пишет об этом театре, в котором он играл несколько раз, хотя платили «от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра» (II, 50). В мемуарах он характеризует его как «помесь любительского кружка и левого, ищущего новых путей театра», где «Смерть Тарелкина» была поставлена «до Мейерхольда, не в декорациях, а в конструкциях» (12.11.1953 – II, 50) и пьеса Пиотровского «Падение Елены Лей» воспринималась в Петрограде «как событие» (13.11.1953 – II, 51).

⁷⁵ Кинотеатр «Молния» по Большому пр. Петроградской стороны, 35 открылся в 1913 г. одним из первых в Петрограде, сохранял свое имя до 1990-х гг., с 2000 г. снова открыт как кинотеатр под названием «Мираж-синема».

⁷⁶ См. в воспоминаниях Г. Холодовой: "Это был театр почти балаганного типа, на Загородном проспекте, в здании бывших Семеновских казарм. По вечерам рассаживался небольшой духовой оркестр, зазывал публику. Руководил этим театром И.Н. Кроль. (Кроль Исаак Моисеевич (1898-1942) – театр. режиссер, ученик В. Мейерхольда, организовал Музыкальный детский театр, Новый театр в Ленинграде, ставший затем Театром им. Ленсовета – Е.Р.) В первом отделении мы со Шварцем играли скетч "Рыжая". Я – рыжая, меня надо ревновать и убить. Шварц – ревнивец и убийца <...> Получали за вечер два миллиона рублей и могли купить три-четыре бутерброда из черного хлеба с селедкой. Во втором отделении эстрадные знаменитости <...> Третье отделение – гвоздь программы – комический хор тети Моти. Помню, выходная песенка начиналась словами: "Семейством тетя Мотя приехала сюда". Евгений Шварц изображал в хоре пьяненького птичника, одетый в какое-то тряпье, он был обвешан клетками с птицами, держал в руках зерно и сыпал мимо. Он был уморительно смешон. Все знакомые смотрели по нескольку раз и умирали со смеху". (Холодова Г. Чистая душа // Житие сказочника... – С. 191). Ср. у Л. Пантелеева: "Бывал я несколько раз и в театре на Загородном, во втором или третьем доме от Бородинской улицы. В длинном, сарайного типа помещении бывшей портомойни или цейхгауза Семеновского полка расположился театр, названия которого я не запомнил. Между прочим, на сцене этого театра я впервые увидел гениального Гибшмана (Гибшман Константин Эдуардович (1884-1942) – драм. и эстрадный актер, конферансье, драматург – Е.Р.) <...> Много лет спустя я узнал, что в труппе этого артельного, "коммунального" театра подвизался и <...> Евгений Львович Шварц" (Пантелеев Л. / Добрый мастер // Житие сказочника – С. 267).

⁷⁷ Бруштейн Александра Яковлевна (1884-1968) – детская писательница, драматург. О ней см. также – II, 52; ТК, 518.

⁷⁸ Пиотровский Адриан Иванович (1898-1937) – выдающийся переводчик, филолог, драматург, критик, руководил худож. самодеятельностью Ленинграда, директор Гос. ин-та истории искусств, зав. литер. частью Гос. Большого Драматического театра, ЛенТРАМа, Малого оперного театра, худож. руков. «Ленфильма» (1928-37), заслуж. деятель искусств РСФСР (1935), репрессирован.

⁷⁹ Ср. в восп. Г. Холодовой: «Наш театр помещался в полуподвале ТЮЗа на Моховой, там, где сейчас буфет, артистические уборные. Наверху шла премьера «Конька-Горбунка», а внизу спектакли театра Новой драмы» (Житие сказочника. – С. 191).

И все же жизнь театра оказалась короткой, его вытеснил открывшийся в том же здании Театр Юного Зрителя (ТЮЗ), «и Брянцев⁸⁰ сумел доказать <...> что он – существует, а Театр новой драмы – явление призрачное», после чего театр «переименовался, переехал в помещение Пролеткульта <...> но утратил свежесть и удачливость» (17.11.1953 – II, 53-54). Историю ТЮЗа Шварц рассказывает подробно, отметим сейчас только описание зала Тенишевского училища, приспособленного для театра в 1922 г.: «В бывшем лекционном зале сцена, как таковая, отсутствовала. Ряды шли полукругом, поднимаясь амфитеатром. Брянцев посадил оркестр в глубокую оркестровую яму перед первым рядом <...> в стене была сделана <...> выемка, соединившая <...> зал с соседним помещением. Этот неглубокий, но высокий и широкий проем был видимостью, подобием традиционной сцены. Настоящая сценическая площадка <...> строилась перед проемом» (10.3.1953 – II, 110). В этом зале, где артист был ближе к зрителю, чем в обычном, Шварц-драматург испытает в 1929 г. «первый большой успех в жизни» (15.3.1953 – II, 113) на премьере своей пьесы "Ундервуд".

В 1922-23 гг. Шварц выступил несколько раз в качестве конферансье в ресторане бывший «Доменик»⁸¹ и на гримировальных вечерах в Театре новой драмы. В 1924 г., когда «в подвальчике на Троицкой открылся театр-кабаре под названием «Карусель», его пригласили «написать что-нибудь», и он «сочинил пьесу под названием «Три кита уголовного розыска» (20.8.1953 – II, 65), а затем «Бланш у миллиардера» (25.8.1953 – II, 68), т.е. явился в театре уже не актером, а автором.

Впрочем, кое-что на этом поприще было уже сделано: «две-три мелочи в юмористических журналах тех дней» (7.6.1952 – II, 55) напечатаны при помощи Михаила Зощенко, в 1923 г. во время отдыха у отца в Донбассе Шварц начал сотрудничать в газете «Всесоюзная кочегарка», где писал стихотворные фельетоны и участвовал в создании журнала «Забой»⁸², вернувшись в Петроград, стал секретарем журнала «Ленинград». Наконец, весной 1924 г. он пришел к Маршаку «с первой своей большой рукописью в стихах» (15.1.1951 – II, 114) – "Рассказ старой балалайки", и эту весну, пережившую его жизнь, Шварц

⁸⁰ Брянцев Александр Александрович (1883 - 1961) – советский российский актер, театральный режиссер, педагог. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950), народный артист СССР (1956). Основатель и первый руководитель Ленингр. Театра Юных Зрителей (открылся в феврале 1922 г.).

⁸¹ "Доминик" – первый в России кафе-ресторан, открыт в 1841 г. по адресу: Невский пр., 24 швейцарцем Домиником Риц-а-Порта. В 1917 закрыт, с 1920-х гг. в его помещении находилось кафе-мороженое (с 1960-х гг. его называли "лягушатником" из-за зеленой обивки диванов).

⁸² Журнал издается до сих пор под названием «Донбасс».

«всегда ощущает возле» (19.1.1951 – II, 118), утверждая: *«Все немногое, что я сделал, – следствие встречи с Маршаком в 1924 году»* (17.1.1951 – II, 117).

Театральная стихия сменилась литературной, но не исчезла, ведь Шварц писал для театра, являвшегося огромной частью его жизни и его Ленинграда. Город в январе 1924 г. переименовался, *«к чему привыкли с легкостью. Проще и легче, чем когда имя Санкт-Петербург исчезло. С тех пор обыватели успели притерпеться к любым переменам»* (8.1.1956 – ТК, 312). А в жизни Шварца теперь основными стали адреса издательств и писателей. Кстати, описывая свою жизнь или «портретируя» кого-нибудь, мемуарист всегда точен в названии улицы, а часто и номера дома, квартиры, облик которой непременно входит в портрет персонажа.

Еще в 1922 г. Шварцы сменили жилье – Холодова «добыла» уже квартиру, а не комнату, во дворе того же дома на Невском, 74, *«крошечную, во втором этаже, полусгоревшую»*. В квартире было 4 комнаты – *«две окнами в стену дома 72, две окнами во двор»*, но *«в самой большой комнате было метров двенадцать»* (II, 49), а жили в ней пятеро – Шварц, его жена Гаяне Халаджиева, ее брат с женой и мать Гаяне⁸³. Условия по-прежнему были нелучшими: *«на полу мокрая тряпка зимой в несколько минут покрывалась инеем»* (10.11.1953 – II, 49), *«и уже после ремонта запах жарнища держался некоторое время»* (16.8.1954 – II, 176)⁸⁴. Но, может быть, в том числе и благодаря постоянному жилью, Шварц с осени 1922 г. *«чувствовал себя петроградским жителем, забывая постепенно Ростов»* (20.1.1953 – II, 79). Прожил он в этой квартире до 1929 г.

Названия улиц также служили своего рода вехами вживания в город, постепенного расширения «личной» топографии. *«Где-то на Пушкинской»* (24.8.1953 – II, 68) находилось Общество драматических писателей, на Стремянной улице располагалась контора издательства «Радуга», у жившего в Манежном переулке К. Чуковского Шварц служил в 1922-23 гг. секретарем и познакомился с районом Кировной, Надеждинской, Спасской улиц; недалеко, на Потемкинской улице, *«против Таврического сада»* жил Маршак (16.1.1951 – II, 115); старый Союз писателей *«помещался на Фонтанке, в чьей-то небольшой*

⁸³ Халаджиева Исхуги Романовна (1870-1958), племянница армянского поэта, критика, публициста, философа Микаэла Налбандяна (1829-1866).

⁸⁴ Ср. в восп. Н. Чуковского: «Жил он (Шварц – Е.Р.) тогда на Невском, недалеко от Литейного, во дворе доходного дома, в маленькой квартирке с таким низким потолком, что до него можно было достать рукою». // Житие сказочника – С. 256.

квартире – кажется, Фидлера» (21.2.1953 – II, 99)⁸⁵, губфинотдел находился «на канале Грибоедова, в великолепном кваренгиевском здании против мостика со львами» (10.1.1953 – II, 72) и т.д.

В другой редакции воспоминаний Шварца существует абзац, объясняющий его впечатления от Петрограда начала 1920-х и описывающий «любимый дом» – только что названный, кваренгиевский (построенный архитектором Джакомо Кваренги): «Я в те дни был крайне растерян и недоверчив, и невнимателен к красотам города, о которых столько твердили наименее живые из моих знакомых. Однако один дом я все же успел заметить и даже полюбить за то, что несмотря на душевное смятение мое, он каждый раз вызывал прочное, надежное чувство восхищения <...> Дом мой любимый возвышался за узорной решеткой на канале Грибоедова, против мостика со львами»⁸⁶. Отметим, что Шварц не только невнимателен к «красотам города» из-за недоедания и забот, но и рекомендовали их его вниманию «наименее живые» из знакомых, вероятно, те, кто не способен чувствовать время, или фальшив в своем стремлении просветить провинциала. И все же красота архитектуры вызывает «надежное чувство».

Квартиры петроградских знакомых объясняли не только их самих, но и «новую почву» жизни (13.1.1953 – II, 74). Стоит сравнить квартиры литературоведа Н.О. Лернера или К. Чуковского, «куда попадали через кухню с давным-давно, годы назад, остывшей плитой»,⁸⁷ и «обширную» квартиру поэта Николая Тихонова, тогда «серапина», на Зверинской улице, 2: «Там всего было много, как взберешься черным ходом высоко-высоко в их многокомнатную квартиру, так насмотришься редкостей. Начиная с хозяина, Коли. И все эти редкости никак не скрывались, а выставлялись», и «"Серапиновы" собрания проходили, подчиняясь невольной интересности подчеркнутой, умышленной, интересности квартиры» (19.8.1955 – ТК, 205-206). Хозяина (сына парикмахера и портнихи, в молодости ученика Николая Гумилева, затем сделавшего литературную карьеру), Шварц недолюбливает, наделяя эпитетом «деревянный» (а ранее высказываясь и еще резче⁸⁸), и хотя квартира расположена, как

⁸⁵ Фидлер Федор Федорович (1859-1917) – переводчик, педагог и собиратель частного литературного музея, посвященного литераторам России и Германии, автор дневника, активный участник литер. жизни Петербурга. Адрес Союза писателей – Фонтанка, 50.

⁸⁶ Цит. по: Шварц Е. Белый волк // Житие сказочника. – С. 47. Та же редакция в кн.: Шварц Е. Мемуары. Подг. текста, предисл. и примеч. Л.Лосева. – Paris, 1982. – С. 102. Кваренгиевский дом, так полюбившийся Шварцу, на самом деле расположен не у Львиного, а у Банковского мостика, украшенного грифонами. После Губернского финансового отдела там размещался Финансово-экономический институт, ныне – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

⁸⁷ Шварц Е. Белый волк. // Житие сказочника. – С. 46; Шварц Е. Мемуары. – С. 100.

⁸⁸ "...слушатель старшего курса студии (литературной студии при Доме Искусств – Е.Р.) с деревянным лицом и голосом из того же материала – Николай Тихонов <...> Буратино с дурно обработанной чуркой на том месте, где у людей

водится, по черной лестнице, мемуарист указывает номер дома, довольно любопытного, – это доходный дом В. Г. Чубакова в стиле модерн⁸⁹, обращающий на себя внимание скругленным углом, украшенным парапетом с вазами, нарядными эркерами и большими витринами на первом этаже. И дом, и квартира (принадлежащая семье жены Тихонова, урожденной Лучивка-Неслуховской⁹⁰) чужды Шварцу, а выгоды конформизма в 1955 году, когда пишется «Телефонная книжка», уже известны⁹¹. Кстати, довольно похоже описывает собрания в квартире Тихонова поэт Николай Клюев,⁹² и также аттестует "атмосферу "занимательной праздничности" "в двух тихоновско-неслуховских квартирах на Зверинской, 2"⁹³ "серапион" Вениамин Каверин в 1977 г., добавляя ту же метафору: "Тихонов одеревенел"⁹⁴.

Другие «серапионы» – Лев Лунц, Михаил Слонимский – в 1922 г. еще живут в комнатах ДИСКА, сам Шварц – в крошечной квартирке впятером, так что 6-комнатные хоромы Тихонова выделяются, хотя описаны и обиталища прочих «братьев». *«Квартира Федина на Литейном вносила что-то <...> в твое самоощущение: квартира! С длинным узеньким*

обычно находится лицо, с пепельным париком над чуркой – ужаснул меня. Года через два, уже зная, что он не так осиноподобен, как почудилось мне при первой встрече..." (20. 1. 1953 – II, 79).

⁸⁹ Построен в 1909-1910 гг. по проекту арх. В.И. Ван-дер-Гюхта.

⁹⁰ Мария Константиновна Тихонова (1892-1975) была дочерью полковника Константина Францевича Лучивка-Неслуховского (1864-1942), известного тем, что полк под его командованием первым 27 февраля 1917 г. перешел на сторону революции. В восп. архитектора Н.М. Уствольской (1909-1986) описывается М.К. Неслуховская-Тихонова и её квартира в июле 1942 г.: "Большой, довольно вычурный 6-ти этажный дом <...> В нем, в угловой квартире издавна проживало большое, интересное, безалаберное семейство большого друга нашего отца – генерала и царского и советского – Константина Францевича Неслуховского, жившего с тремя дочерьми – Марией, Татьяной и Ириной и еще с какими-то родственниками <...> Она (М. К. Неслуховская – Е.Р.) вышла замуж за Н.С. Тихонова в 1921 г., была несколько старше его, имела на него колоссальное культурное влияние, он был её вторым мужем <...> Я поднялась к ним на 6-ой этаж и вошла в хорошо знакомую, еще с детства комнату. Всегда немного сказочное для меня обиталище Марии Константиновны, создательницы и повелительницы изящных и фантастических, в стиле Гофмана или Бакста – кукол, которые сидели на полках, на столиках, выглядывали из разных углов" (*Уствольская Н.М. Блокада (Воспоминания)*). – Без вых. дан., 2006. – С. 163-164. // Также на сайте: <https://iremember.ru> > grazhdanskie)

⁹¹ Тихонов Николай Семенович (1896-1979) – к 1955 г. лауреат трех Сталинских премий I степени (1942, 1949, 1952), в 1944-46 гг. председатель Правления Союза Писателей СССР, с 1949 г. председатель Советского комитета защиты мира, депутат Верховного Совета СССР с 1946 г., зам. председателя Комитета по Сталинским премиям и т.д.

⁹² Рассказ Н. Клюева, датирован 20 марта 1924 г.: «Был у Тихонова в гостях, на Зверинской. Квартира у него большая, шесть горниц, убраны по-барски, красным деревом и коврами; в столовой стол человек на сорок. Гости стали сходиться поздно, все больше женского сословия, в бархатных платьях, в скунцах и соболях на плечах, мужчины в сюртуках, с яркими перстнями на пальцах. Слушали цыганку Шишкину, как она пела под гитару, почитай, до 2-х часов. Хозяин же все отсутствовал; жена его, урожденная панна Неслуховская, с таинственным видом объясняла гостям, что "Коля заперся в кабинете и дописывает поэму" и что "на дверях кабинета вывешена записка: «вход воспрещен» и что она не смеет его беспокоить, потому что «он в часы творчества становится как лютый тигр»". Когда гости уже достаточно насиделись, вышел сам Тихонов, очень томным и тихим, в теплой фланелевой блузе, в ботинках и серых разутюженных брюках. Угощение было хорошее, с красным вином и десертом (так – Е.Р.). Хозяин читал стихи «Юг» и «Базар». Бархатные дамы восхищались ими без конца... Я сидел в темном уголку, на диване, смотрел на огонь в камине и думал: вот так поэт революции!...» - Цит по: *Михайлов А.* Николай Клюев и «Серапионовы братья»// Русская литература. – 1997. – № 4.

⁹³ *Каверин В.* Эпilog. Мемуары. – С. 266

⁹⁴ Там же, с. 284.

кабинетом, с книжными полками, закрывающими стены до потолка, с бюстом Толстого на полке, с большим письменным столом у окна, глядящего во двор. За кабинетом шла столовая <...> В другие комнаты не попадал, да и была-то, кажется, всего одна еще» (19.8.1955 – ТК, 205-206). Как приятно описана эта писательская «квартира как квартира» (ТК, 206), где главное книги, а не гавайские куклы, как у Тихонова, но чувствуется легкая зависть пишущего – ему тоже хочется такой же, спокойной и удобной, он, например, «с удивлением увидел», что «дом у Каверина <...> еще больше налажен, чем у Федина. Настоящая квартира с мебелью, внушающей уважение». И в этом описании отражается собственное неустройство быта, и снова указан точный адрес – «угол Введенской и Большого»⁹⁵ (2.9.1955 – ТК, 219).

На Петроградской стороне, на Матвеевской улице, 2⁹⁶, жил Борис Житков, занимавший в жизни Шварца «большое место» (10.10.1952 – II, 124). В 1924 г. оба они печатались в детском журнале «Воробей», дружили с Маршаком, и Шварц, перейдя с Житковым на ты, стал бывать у него в доме, о котором ему «приятно вспоминать» (II, 133) и в 1952 г.: «Я любил, очень любил его небольшую и очень петербургскую, выходящую окнами в полутемный колодец двора квартирку» (22.10.1952 – II, 133). Писатель вспоминает и расположение комнат, и «скромный письменный стол» и то, что отдельного кабинета не было, а была «некоторая помесь гостиной и кабинета» – все это пронизано любовью к Житкову, без тени зависти, даже легкой, к жилищным условиям («квартира!»), без тени насмешки, как в случае с Тихоновым.

* * *

Итак, Петроград 1914-15 гг. был воспринят Шварцем как фон крушения его первой любви, оставившей памятные места – Васильевский остров, Румянцевский сквер, – но был еще в какой-то мере туристическим объектом. С 1921 г. темный, холодный (это два самых частых определения), «ошеломленный» город становится понемногу родным – очень медленно, и потому, что это было трудное время, и потому, что Шварц любил «южную свою родину» (25.7.1954 – II, 287). Он с радостью совершил в 1923 и 1924 гг. два «броска на юг» в Донбасс, но Петроград олицетворял новую жизнь с театральной и литературной

⁹⁵ Введенская ул. (ул. Розы Люксембург, ул. Олега Кошевого) и Большой пр. находятся на Петроградской стороне СПб.

⁹⁶ Интересно отметить, что многие названные квартиры (К. Чуковского, В. Каверина, Н.Тихонова, Б. Житкова) расположены в угловых домах.

средой и, наконец, призвание. Город постепенно приоткрывался, поворачивался разными сторонами, «демонстрировал» своих жителей, позволяя понять их, заглянув в их дома. Петроград Шварца в начале 1920-х ограничен – включает в себя, в основном, Невский и Литейный проспекты с их окрестностями, да еще часть Петроградской стороны, с некоторыми отступлениями, вроде Загородного пр., порта и Варшавского вокзала.

Город, где так ясно ощущался нерв времени, явился в прозаической книге Шварца не фоном, а действующим лицом переходной эпохи. В нем еще «носились, держались» «воспоминания о <...> бывших людях», и они сами мелькали в городе: «по Моховой гуляет седой старик – бывший министр двора барон Фредерикс», где-то «доживал свой век нововременец Буренин», «у аничковской аптеки просил милостыню <...> испитой человек <...> с университетским значком», «черноглазая старуха пела по-французски <...> под сводами Гостиного двора» (16-17.8.1954 – II, 177). А рядом возникало новое и в новых формах. Дом Искусств, «серапионовы братья», обэриуты и новая советская детская литература не только появились в Петрограде, но и были *вызваны к существованию* именно здесь, и, возможно, некоторые их черты связаны именно с «душой Петербурга», к которой присматривался и привыкал Шварц.

2

Ленинград 1920-1930-х годов

Если начало 1920-х гг. Шварц определил как «трудное», «голодное», но «здоровое» время (II, 45), то вторая половина десятилетия была иной, хотя литературная жизнь оставалась еще относительно свободной: существовало частное издательство «Радуга» (1922-1930), куда рекомендовал начинающего писателя Маршак, и знаменитые детские журналы – «Воробей» (1923-24), «Новый Робинзон» (1924-25), «Еж» (1928-35), «Чиж» (1930-41), – где печатался и был редактором Шварц.

Дирекция «Радуги» помещалась «на Стремянной, в квартире владельца, Льва Моисеевича Клячко, – как всегда топографически точен Шварц. – В ожидании денег сидели мы в проходной комнате» (II, 69, 70).⁹⁷ Там бывали Маршак, К.И. Чуковский и Н.К. Чуковский; «тощий,

⁹⁷ Адрес дома, где жил Л. М. Клячко – Стремянная ул., 14, главная контора издательства располагалась в Большом Гостином дворе.

добродушный, чахлый, вечно выпивший Андреев»⁹⁸; Яков Годин⁹⁹, который «жил где-то в деревне, ходил в сапогах»; Ауслендер, «седой, рыхлый, едва передвигающий ногами»¹⁰⁰, Мандельштам – «озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение» (II, 70). Благодаря «Радуге», семье Шварца «впервые с приезда жить <...> в Ленинграде стало полегче» (II, 70).

Но главным ленинградским адресом Евгения Львовича в 1925-31 гг. стал Невский, 28 – Дом Книги, на пятом этаже которого находился Детский отдел Госиздата. Большая часть жизни Шварца, редактора и автора, сосредоточилась здесь, и была она малоденежной и веселой. «Сейчас трудно представить, как мы были веселы <...> Веселы иной раз до глупости, до безумия, до вдохновения...» (II, 132), – писал он в 1952 г., а в 1955 г., описывая «пустоту и тишину» Детиздата, находящегося уже на набережной Кутузова, вспоминал «оживление детиздатовское и госиздатовское, с авторами и художниками в коридорах, словно в клубе» (9.5.1955 – ТК, 109-110). О вдохновенном веселье Детиздата конца 1920-х, в том числе и о Шварце, написано у многих мемуаристов.

Вера Кетлинская приводит двестише Шварца:

Дом двадцать восемь,
Милости просим!

⁹⁸ Вероятно, Василий Михайлович Андреев (1889-1942) – прозаик, журналист, драматург. Участвовал в рев. движении, в 1910-1913 находился в ссылке в Туруханском крае, по некоторым сведениям, помог устроить побег Сталину. Печатался с 1916 г. в петроградских газетах. В 1918-22 гг. служил в Красной Армии, в 1927 г. был арестован, но затем освобожден. Андреев рассказывал в своих книгах 1920-х гг. о жизни петроградских окраин. В 1937 г. за буйный нрав и идеологическую неводержанность Андреев исключен из Союза писателей, в августе 1941 г. арестован за «антисоветскую деятельность». Этапирован из Ленинграда в Мариинск Новосибирской обл., где умер от «остановки сердечной деятельности на почве авитаминоза». 19 ноября 1942 дело было прекращено за смертью обвиняемого, реабилитирован 23 января 2001.

⁹⁹ Годин Яков Владимирович (1887-1954) – поэт, переводчик. Печатался с 1903 г., был знаком с Блоком, С. Городецким, В. Пястом, А. И. Куприным, А.Н. Толстым, дружил с Сашей Черным, С. Я. Маршаком, с которым в 1911 г. ездил на Ближний Восток. Современниками его творчество воспринималось как образец «массовой поэзии». В 1915 г. женился на крестьянке Тверской губернии. С октября 1917 печатался в газетах и журналах, издавал детские книги. С 1930 г. – заместитель редактора районной газеты в пос. Максатиха Тверской области, с 1941 жил в Удмуртии, переводил, публиковал свои литературные воспоминания.

¹⁰⁰ Вероятно, это Ауслендер-Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891-1942) – поэт, член гумилевского третьего "Цеха поэтов" (1921-1923). Окончил военное училище и Харьковский ун-т, участник I Мировой войны. В 1922-23 гг. печатался в альманахе "Абрассас" под ред. М.Кузмина и А.Радловой, в 1929 г. его книга "С девятнадцатой страницы" была названа "манифестом классового врага в поэзии" (На литературном посту. – 1929. – № 21-22. – С. 87). В 1931 г. арестован и выслан на 3 года в Алма-ату, с 1934 г. снова в Ленинграде, перед войной переехал в Москву, 30 июня 1941 г. арестован, погиб в 1942 г. в ГУЛаге. (Ауслендер Сергей Абрамович (1886-1937) – писатель, драматург, театральный и литературный критик, племянник поэта М. Кузмина, с 1922 г. жил в Москве, поэтому вряд ли речь идет о нем).

Н. Чуковский, сам причастный к работе Детского отдела, описывает его "учреждением талантливым и веселым", так что шестой этаж, где он располагался, "ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители Детского отдела до того ослабевали от смеха, что, кончив свои дела, выходили на лестничную площадку, держась руками за стены..."¹⁰¹ И.Рахтанов добавляет: "Смех не прекращался в редакционной комнате. Все делалось весело, каждый шаг, каждое движение казались открытием <...> Дом книги на Невском проспекте! "Детский этаж Дома книги"! В моей памяти он навсегда связан с образом Евгения Львовича – рассказчика..."¹⁰² А Л. Пантелеев рисует замечательную картину встречи молодых авторов – его и Григория Белых – с редакторами: "...с трепетом ступаем на метлахские плитки длинного издательского коридора и вдруг видим: навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди <...> Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.

– Вам что угодно, юноши? – обращается к нам кучерявый.

– Маршака...Олейникова...Шварца, – лепечем мы.

– Очень приятно...Олейников! – рекомендуется пышноволосяй, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.

– Шварц! – протягивает руку его товарищ".¹⁰³

Работа же под руководством Маршака шла самозабвенно: «...тесная кучка людей <...> окружая письменный стол в левом углу комнаты <...> титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала – не могу найти другого слова – очередной номер тоненького детского журнала...» (II, 126).

Здесь печатались К. Чуковский, Б. Житков, Д.Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, В. Бианки, иллюстрации создавали В. Лебедев, П.И. Соколов, Е. Чарушин, А. Пахомов, В. Конашевич, Н. Тырса и другие известные или ставшие известными впоследствии художники, редактором работал Николай Олейников, секретарем – Ираклий Андронников; по словам Шварца, «в Доме книги, как в Ноевом ковчеге, спасались от потопа и люди, и звери» (29.7.1955 – ТК, 191), – они и населяют Ленинград, описанный Шварцем, рассказавшим о многих из них подробно.

¹⁰¹ Мы знали Евгения Шварца – С. 31.

¹⁰² Там же, с. 128, 133.

¹⁰³ Там же, с. 42. См. также: Шишман С. С. Несколько веселых и грустных историй о Данииле Хармсе и его друзьях. – Л., 1991

С работой в издательстве были связаны поездки в знаменитую типографию «Печатный Двор», упоминающиеся Шварцу *«полными воображаемого счастья»* (22.2.1953 – II, 100). Он называет даже номер трамвая – двенадцатый, отмечает *«у Геслеровского переулка, непривычные дома Петроградской стороны»*, и подробно описывает *«обаяние типографии»: «офсет, показавшийся <...> чудом»* (II, 101), литографию, где работали художники, верстку, где старые наборщики объясняли, чем плохи *«московская верстка»*, нарушающая *«все традиции»* (26.2.1953 – II, 103; и здесь существовали московская и ленинградская школы!), машинное отделение с мастерами, *«строгими и сосредоточенными, словно доктора»*, цинкографию, где *«в ваннах с кислотой безмолвно доспевали клише»* (28.2.1953 – II, 104). Словом, «Печатный Двор» – это отделанный прекрасный очерк.

По дороге пешком домой – рынок *«с вывеской «Дерябкинский рынок открыт целый день»*, и Шварц отмечает, что *«вывеска в стихах и размер этот идет к темному, тесному рынку»*¹⁰⁴, у ворот которого *«стоят неподвижно среди потока домохозяек некие люди, ожидающие, что счастье <...> свалится им в руки»*. Это или инвалиды, к вечеру дождавшиеся своего алкогольного *«игрушечного оловянного воображаемого счастья»*, или *«мордастые, обрюзглые, тихие парни, махнувшие рукой решительно на все»* (1.3.1953 – II, 105). Все они тоже замечены писателем.

Вообще, описывая вторую половину 1920-х и 1930-е годы, Шварц больше рассказывает о людях, чем, собственно, о городе. Правда, по-прежнему указывает адреса квартир и районы все еще не до конца знакомого города, но меньше задерживает взгляд на пейзажах. Стаж ленинградской жизни увеличился.

В 1926-27 гг. Шварц делал детские передачи на радио «на улице Герцена, во дворе» (II, 141), а весной 1927 г. сблизился с актерами ТЮЗа – Л.Ф. Макарьевым¹⁰⁵ и В.А. Зандберг¹⁰⁶ и, как всегда, уточнил: *«Они жили тогда на углу Аптекарского переулка и улицы Желябова»*, – а потом объяснил свое тогдашнее состояние: *«Я, страдая своей вечной болезнью – манией*

¹⁰⁴ Дерябкинский (по имени купца Дерябкина, затем Приморский) рынок на Малом пр. Петроградской стороны, 54.

¹⁰⁵ Макарьев Леонид Федорович (1892 – 1975) – советский актер, режиссер, педагог, драматург. Один из активных деятелей советского театра для детей. Принимал участие в создании Ленингр. ТЮЗа, с 1932 г. – руководитель и педагог Студии при ЛенТЮЗе, с 1939 г. заведующий кафедрой актерского мастерства Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, профессор. Автор более десятка оригинальных пьес для детей, ряда инсценировок, книг по вопросам театра и театральной педагогики, народный артист РСФСР (с 1956).

¹⁰⁶ Зандберг Вера Алексеевна (1897-1975) – актриса Ленингр. ТЮЗа, жена Л. Ф. Макарьева.

ничтожества, смотрел на новую среду театральную, точнее тюзовскую, с уважением» (6.3.1953¹⁰⁷ – II, 108). Сама же среда и ее деятели – А. А. Брянцев, Б.В. Зон, Л. Ф. Макарьев – описаны чрезвычайно критично. Кстати, и в связи с художественными вкусами: *«Дом этот строил Гваренги», – так сказал мне Макарьев, потом Елагина¹⁰⁸ <...> потом Зандберг. И я испытал чувство раздражения <...> Я не любил, не выносил тогда разговоры о том, кто что построил и что какого стиля. Самоуверенные пижоны, знавшие все это, казались мне народом мертвым. Ничего не понимающим в старом, раз не увидели нового. Нового в искусстве»* (20.12.1955 – ТК, 297-298). Замечание объясняет отсутствие в дневниках городских пейзажей, тогда как театральная среда органично влилась в «портрет» Ленинграда конца 20-х-30-х гг.

1929 год стал и для Шварца «годом великого перелома»: в апреле родилась дочь Наташа, занявшая огромное место в его душе и жизни, в сентябре на премьере пьесы «Ундервуд» в ТЮЗе (в постановке Б. Зона) он *«первый раз в жизни испытал, что такое успех»* (12.5.1953 – II, 140), большая любовь к Екатерине Ивановне Зильбер (Обух) привела к уходу из первой семьи – *«И унесли меня события тогдашних дней прочь от дома 74...»* (на Невском пр. – Е.Р.; 18.8.1954 – II, 178).

Перебрался Шварц недалеко, в район Песков (до революции чиновничий и мещанский по преимуществу) – новый для него: *«Окрестности моего дома были теперь совсем другие. Советские – бывшие Рождественские¹⁰⁹. Греческая церковь¹¹⁰. Маленькие кинематографы. Греческая улица¹¹¹. Мальцевский рынок¹¹². Сквер на Греческой, по дороге к нему»* (II, 178). Адрес –

¹⁰⁷ Следует обратить внимание на дату записи – 6.3.1953 г. радио и все газеты объявили о смерти Сталина, но Шварц продолжает работу над своими воспоминаниями, как обычно.

¹⁰⁸ Елагина (Шик) Елена Владимировна (1895-1931) – артистка, ученица Е. Б. Вахтангова, педагог, преподавала в студиях ЛенТЮЗа и Театра драмы.

¹⁰⁹ 1—10-я Рождественские улицы (название от церкви Рождества Христова, разрушена в 1934 г.) в 1798-1923 гг. (до 1798 г. улицы назывались линиями Слонового двора, на котором содержались привезенные из Индии слоны). В 1923 г. переименованы в 1-10 -ю Советские улицы, Суворовский пр. в 1918-1944 гг. назывался Советским. В конце XIX в. застраивались доходными домами в стиле модерн, неоклассики и др.

¹¹⁰ Греческая церковь Димитрия Солунского на Греческой площади – однокупольный храм в византийском стиле, заложен в 1861 г., освящен в 1865 г., богослужения продолжались до 1938 г., снесен в 1962 г. Церковь была построена для греческой общины Петербурга, служба велась на греческом языке. На месте церкви сейчас находится концертный зал «Октябрьский».

¹¹¹ Греческий проспект (а не улица, как у автора) – между 2-й Советской улицей и Виленским переулком.

¹¹² Мальцевский (Некрасовский) рынок (улица Некрасова, 52) – по имени купца И. С. Мальцева, построен в 1913-14 гг., перестроен в 1954 г.

«угол 7-й Советской и Суворовского проспекта» (II, 179). Кстати, недалеко, на Греческом пр., 15, жили тогда Тыняновы и Каверины.

Создавался новый дом трудно: комната съемная – «в самом первом этаже, гости стучали прямо в окна», время безденежное и «с каждым днем <...> тяжелее отношения со старым домом» (18.8.1954 – II, 178), где остались не только первая жена и ее мать, но и новорожденная дочка. Зато чувства к дому изменились, и это слово стало часто появляться в записях: «До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому» (6.11.1956 – II, 179).

Историческое время, между тем, менялось, и не только календарно: «Двадцатые годы, боевые, переходили в тридцатые. Как будто более спокойные» (II, 108; «как будто», сказанное в 1953 г., пытается, вероятно, восстановить тогдашние представления). Быт описан конспективно: «Время бедное – конец 29-го, 30-й год. Коллективизация. Магазины опустели. Хлеб выдавали по карточкам. Серые книжки, похожие на тепереиние сберегательные. Талоны не вырезались – ставился штамп на данное число. Мясо, все больше фарш, покупали мы на рынке ...» (II, 179), «часто исчезали папиросы» (II, 178), – зато обитатели и «просторная, темная, нечистая квартира» в Песках (18.11.1956 – II, 181), где прошло два года жизни Шварцев, – внимательно и подробно.

«Существовал» в доме «парадный вход, вечно запертый, чуть ли не с семнадцатого года. Но ходили мы все черным, из-под тоннеля ворот, прямо через кухню» (17.11.1956 – II, 180) – такое расположение сохранялось долго (и не только в Ленинграде, но и в Москве, что и увековечено Ильфом и Петровым в «12 стульях»¹¹³). Так же, как неработающие плиты: «Печь в кухне, как и во всех квартирах, находилась как бы в параличе после революции. Дров было недостаточно в городе даже во времена нэпа, а в тридцатых годах и совсем попржиало. Там горели керосинки, тоже обиженные, заброшенные, с подтеками...». И крысы еще не покинули захваченный ими город: «Они бегали по всей квартире, как равноправные жильцы. Воду пили из бака в уборной. Собирались там компанией, как бабы у колодца. Входя в уборную, приходилось стучать и кричать, после чего они неторопливо спускались по трубам и удалялись потайными ходами» (II, 181).

¹¹³ «Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом». // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. – Душанбе, 1986 – С. 195.

Обстановка квартиры была смешанная – «буржуазная, конца века, с вещами сероватого цвета модерн и прекрасными добротными <...> старинными вещами красного дерева» (II, 181). У Шварцев же «ничего не было»: «кровать, узкая, девичья <...> шкафчик», вспомнившаяся позже «высокая тумбочка» (1.5.1954 – II, 222), купленный у хозяев обеденный стол, письменным служил «массивный, розового мрамора стол под умывальный таз» (23.11.1956 – II, 185), – вот и всё, причем эту бедность хозяева квартиры давали почувствовать своим жильцам.

Описав свое обиталище 1929-31 годов в спокойных тонах мемуариста, Шварц вдруг поминает в связи с обитателями «нечистой квартиры» «мелких бесов»: «Свирепый новый дух еще не пообломал рога предшествующим духам <...> О <...> умирающие дьяволята с тончайшими рожками! На пороге были уже новые дни, год, два, три, и не осталось ни рожек ни ножек от бесов мелких квартирных...» (II, 180, 183). Кстати, создатель романа «Мелкий бес» присутствовал в том Ленинграде, в котором жил Шварц, но Федор Сологуб «больше пугал, чем привлекал», хотя значительность поэта в «туманной, дымной и вместе с тем недружной, недоверчивой среде» старого Союза писателей (которого Федор Кузьмич был председателем в 1926-1927 гг.), также была несомненной: «Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой» (21.2.1953 – II, 99; два «но» на одну короткую фразу).

«Бесы» не покидали старых квартир, и соседи по следующему жилью – на Литейном проспекте, 16 – оказались «еще более любопытные» (25.11.1956 – II, 186-187). Художник Калужнин¹¹⁴, «чужак от темени до пят», жил в «пыльном логове»: «Пыль, копоть, грудой сваленные холсты. Керосинка. Остатки еды. На мольберте картина, тоже будто написанная пылью и посиневшая от холода» (II, 187-188), и вторая соседка «совсем уж безумная» (27.11.1956 – II, 188).

Кухня на новом месте была «все такой же ленинградской, полубомбочной <...> с парализованной плитой» (28.11.1956 – II, 189), в комнате Шварцев на 4 этаже – «окно с цельным стеклом» и по-прежнему мало мебели. Появился только письменный стол,

¹¹⁴ Вероятно, Василий Павлович Калужнин (1890-1967) – художник, учился у Л. Пастернака, В. Мешкова, выставлялся с 1916 г. с группой "Свободное искусство" (К. Малевич, В. Татлин и др.). В 1923 г. переехал в Петроград, где в 1926 г. примкнул к обществу "Круг художников" (В. Пакулин, А. Пахомов, А. Самохвалов, Г. Траугот и др.). В 1928-33 гг. работы К. приобрела Гос. Третьяковская галерея, в 1928 г. Новый музей Западного искусства выменивает на специально подаренные ему для этой цели работы К. полотна итальянских мастеров Моранди и Кирико (сейчас в Эрмитаже). С 1932 г. К. – член Союза художников, в 1937 г. исключен из него за "формализм". Во время блокады Ленинграда К. создал серию "Эвакуация Эрмитажа", многочисленные виды города. В 1944-49 гг. преподавал в ленинградских художественных училищах.

описанный как живое существо: *«Столик был крошечный и имел дурную привычку становиться на колени, роняя на пол рукописи и чернильницу. Передние ножки у него как-то подгибались»* (29.11.1956 – II, 190), – зато за ним были написаны рассказы для детских журналов и пьесы "Остров 5-К" и "Клад". Бытовая жизнь – как у всех: очереди за керосином «на целый квартал», и нести его надо пешком от Сампсониевского моста, т.к. *«на трамвай с керосином не пускали»*, коммерческие магазины, Торгсин – *«зима 32-33 года была нелегка»* (17.5.1954 – II, 236).

В начале 1930-х годов Шварц бывал в разных домах, всегда его интересовавших как выражение человеческих характеров и исторического времени. Вот *«две комнаты Суециных»*, которые *«расположены под прямым углом»* (15.11.1955 – ТК, 271), так высоко, что приходилось *«отдыхать посреди пути»* (18.8.1954 – II, 178), в *«огромном доме, угол Греческой и Бассейной, дом бывших собственников квартир»* (14.11.1955 – ТК, 270). Здесь *«всегда было интересно»*: «проповеди» супрематизма, разговоры о Казимире Малевиче, Марке Шагале, Роберте Фальке, В.Е. Татлине; о психоанализе и вообще о нетрадиционной медицине, не похожей на «законную», которая *«суха, холодна и рационалистична вроде академической живописи»* (ТК, 271); о литературе – *«в те дни еще было ощущение какой-то связи между передним краем литературы, изо и музыки»* (17.11.1955 – ТК, 272). Обстановка не упомянута, но рассказана история дома и его жильцов: *«У дома не было владельца. Каждый жилец не нанимал, а покупал квартиру. И многие владельцы квартир, в прошлом люди состоятельные, еще ютились в одной-двух комнатах своих бывших владений <...> В комиссионном магазине возле <...> до сих пор (в 1955 году – Е.Р.) можно увидеть их фарфоровые чашечки <...> веера, гранатовые браслеты, даже лорнеты на черепаховой палочке...». С хозяевами вещей, «на диво жизнеспособными представителями отживающего мира», разыгрывались в «недрах дома» *«удивительные истории»* (ТК, 270), две-три из которых приведены.*

Вот «большая и нескладная» квартира режиссера Театра Комедии и художника Николая Акимова и его жены Н.Н. Кошеверовой¹¹⁵ на углу Большой и Малой Посадской улиц на Петроградской стороне, отличающаяся теми же ленинградскими особенностями, которым Шварц не переставал удивляться. Во-первых, *«подниматься надо было до неправдоподобности высоко» «по лестнице, бывшей черной, узкой и крутой»*; во-вторых,

¹¹⁵ Кошеверова Надежда Николаевна (1902-1990) – кинорежиссер, постановщик фильмов «Золушка» (1947), «Каин XVIII» (1963), «Тень» (1972) по сценариям Шварца.

внутреннее расположение: *«Попадал ты в кухню <...> Оттуда <...> в коридор, с дверями в другие комнаты, а из коридора – подумать только – в ванную. А из ванной в комнату самого Акимова»*. Разумеется, возникновение такой странной планировки связано с историей революционных лет: *«Подобная квартира с ванной, разрезающей ее пополам, могла образоваться только в силу многих исторических потрясений и делений, вызванных необходимостью»*¹¹⁶. Отметим Шварц «ненужные и сумеречные» «просторы» кухни, которые *«не могли быть освоены»*, и окна, *«расположенные полукругом»* в большой комнате Акимова – все эти подробности считал важными (10.7.1955 – ТК, 174-175).

О доме знаменитого профессора-хирурга Ивана Ивановича Грекова¹¹⁷, с дочерью которого, Наташей, Шварцы подружились в 1932 г., писатель рассказал так подробно, что понимаешь значительность знакомства и всех подробностей, связанных с ним. В доме существовали рядом *«признаки времени, двух времен»* (9.4.1955 – ТК, 81): хозяин жил в настоящем – много работал, читал «Историю» С. М. Соловьева, интересовался гостями детей (вслед за Шварцем в доме стали бывать Н. Олейников и Д. Хармс), его жена, писательница Елена Афанасьевна Грекова¹¹⁸, автор рассказов, о которых *«дома не говорилось»* (11.4.1955 – ТК, 82), продолжала жить в прошлом вместе со своим кругом знакомых и *«призрачной обстановкой»* (10.4.1955 – ТК, 81), а дочь Наташа, была *«существом сложным, нежным и отравленным, словно принцесса...»* (8.4.1955 – ТК, 79)¹¹⁹. Двойственность заключалась и в самом расположении дома, находившегося *«на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка <...> В самом рыночном, светливом <...> месте. А входяшь в подъезд – попадаешь в мир, которого нет <...> Слишком широкие сени»*¹²⁰. *Выложенная кафелем надпись*

¹¹⁶ Могу подтвердить, что такие квартиры встречались, друзья моей мамы, семья А.А. Францкевича – Е.Г. Синеоковой, жили в похожей по адресу: наб. Фонтанки, 150, кв. 7А. Вход под арку по черной лестнице, вместо прихожей вы попадали в большую кухню с огромной неработающей дровяной плитой, затем узкий коридор с дверью в «темную» (без окон) комнату для прислуги, затем на повороте – ванная (без двери), из нее вход в комнату. Конечно, квартира была коммунальная и позже перестроена.

¹¹⁷ Греков Иван Иванович (1867-1934) – один из крупнейших русских хирургов, заслуженный деятель науки РСФСР (1932), с 1895 г. и до конца жизни работал в Обуховской больнице С.-Петербурга, на базе которой в 1932 г. он организовал 3-й Ленинградский Мед. институт, с 1915 г. – профессор Психоневрологического ин-та (2-й Лен. Мед. институт), в 1922 г. возобновил выпуск журнала «Вестник хирургии и пограничных областей» (в настоящее время — «Вестник хирургии им. И. И. Грекова»). В его доме бывали, кроме ученых и врачей, А. Ахматова, В. К. Шилейко, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А.Н. Толстой, В. Вересаев, В. Шишков, К. Федин и др.

¹¹⁸ Грекова (Уваровская) Елена Афанасьевна (1875-1937) – писательница, автор четырех сборников рассказов, сотрудничала в «Русском богатстве», «Новом журнале для всех» и других изданиях.

¹¹⁹ Полагаю, что черты Н.И. Грековой могли отразиться в образе Принцессы из "Тени" Е. Шварца.

¹²⁰ Здесь Шварц выразился не по-петербургски, следовало сказать парадная или вестибюль.

«Добро пожаловать» по-латыни или французски: все рассчитано было на жильцов, которые уже не живут на свете» (ТК, 79).

Квартира в бельэтаже, «единственная», уцелевшая *«с доисторических времен» (ТК, 79), была огромной и загадочной для Шварца: «большая темная передняя с зеркалом, столиком, картиной в овальной рамке, такой же темной, как стены, стулья с высокими спинками, пол с ковром» – здесь «полагалось ждать пациентам» (9.4.1955 – ТК, 80), длинный коридор, множество комнат, что смущало: «в те годы странно было видеть, что работает человек в одной комнате, а спит в другой¹²¹, но квартира Грековых была таинственно поместительна» (20.4.1955 – ТК, 90;). Писатель упоминает «недра квартиры», «призраки умерших комнат» (ТК, 82), пишет, что «у вещей и у стен вокруг вид был неуверенный, словно ждали они с минуты на минуту, что попросят их присоединиться к их племени, ушедшему на тот свет много лет назад» (ТК, 80).*

Шварца *«трогала приязнь» (ТК, 81) И.И. Грекова и очень занимал его дом (которому посвящено почти 16 страниц текста): он рассказывает обо всех членах семьи, упоминает о «нервной» девушке лет 17 и о «древней, совсем белой немке, гувернантке» (ТК, 82), живших в квартире; о гостях профессора и о гостях хозяйки, для которых она однажды «распустила волосы и <...> с ошеломленным выражением еще красивого лица продекламировала <...> «Письмо женщины» Апухтина» (14.4.1955 – ТК, 85). Особо описана обстановка: «Она умерла, но не сдавалась <...> висели картины, все небольшие в золотых рамках. На рамках – таблички <...> Когда-то были они, вероятно, ценимы <...> но умерли и вымерли и ценители, и они сами <...> И страшиновато было, когда ты вдруг понимал, что всех этих покойников принимают за живых. А они умерли настолько недавно, что запах тления еще носился вокруг них» (ТК, 81). О «призрачности» сказано не единожды, и призраками названы гости хозяйки – таким выглядело все в глазах Шварца, но трудно сказать, когда он сделал этот вывод – в 1932-34 гг. или в 1955 г. в воспоминаниях.*

Из чужих домов писатель возвращался на Литейный проспект, казавшийся ему самым шумным местом в городе: *«Трамваи <...> взывали, орали машины, шумел народ, играли*

¹²¹ Вспоминается, конечно, по этому поводу другой профессор медицины – Преображенский из «Собачьего сердца» М. Булгакова с его словами: «В спальне принимать пищу <...> в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!...<...> Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной!» (Булгаков М. А. Собр. соч. в 5 тт. Т.2. – М., 1992. – С. 137).

оркестры, и все эти шумы сливались иногда в один, и я не шутя думал, что вот и сам дьявол подает голос» (15.5.1954 – II, 234).

В повествовании о 1930-х годах Шварц часто поминает призрачность, бесов и самого дьявола. И когда в 1934 г. он наконец получает квартиру в «писательской надстройке» на канале Грибоедова, 9 – «в 23,7 метра <...> но отдельную, наконец отдельную!» – то испытывает «смутное предчувствие <...> что увижу я вместо рам четырехугольные дыры в стенах и обнаженные балки в полу» (1.12.1956 – II, 191-192). Предчувствие сбылось во время войны, и знакомые «напоминали об этом, смеясь», а Шварц записал в дневнике: «Что же еще мы умеем в таких случаях делать?» Кроме мистических переживаний, были просто «мрачные слухи о людях, врывающихся в готовые дома» и занимающих чужие квартиры без всяких ордеров, и писатели, чтобы не рисковать, «все переехали в один и тот же час» (2.12.1956 – II, 192).

Дом был не прост: «Огромный <...> построенный в екатерининские времена», «принадлежал» он «дворцовому ведомству», был трехэтажным, а с 1934 г. «стал пятиэтажным. Надстроили два этажа <...> замучили нижних жильцов», которые «с яростью бранились: «Это всё писатели, всё они, проклятые, проклятые» (7.6.1955 – ТК, 141-142).

В то же мемуарное время (с 1929 года) вливается в повествование «материальная» струя – рассказы о предметах, участвующих в создании дома: большой ковер «неслыханной красоты», который был «как бы разрублен шашкой» (II, 190-191), «висячий старинный шкафчик красного дерева для фарфора» (II, 192), затем «ушли из дома старые вещи и заменились старинными» (19.1.1954 – II, 204). Описаны и мастера, их реставрировавшие.

Описан и «маленький, черненький, не лишенный изящества телефонный аппарат» (28.12.1955 – ТК, 303), а в связи с ним и вся система «телефонов с кнопками», бывших «чисто ленинградской особенностью»: «Ты нажимал кнопку «А», если первые цифры номеров, которые ты вызываешь, начинались с единицы или двух. И на кнопку «Б», если номера были выше. И женский голос с особенной, выработанной интонацией отвечал тебе: «Группа «А» или «Б» и повторял преувеличенно отчетливо названный тобой номер <...> когда барышня звонила <...> то раздавалось не сипение, а такой звук, словно сыпали на пол зерно».¹²² И Шварц рассказывает об этом в 1955 г. «так подробно, потому что это ушло в прошлое» (ТК, 303-304), и он хочет закрепить все приметы времени, оставить след от людей, вещей, домов...

¹²² Такой же телефон с кнопками описан в рассказе А. Грина "Крысолов". – Указ. изд. – С.375-377.

Вошли в жизнь писателя в 1930-е годы и дачные ленинградские пригороды – Песочная, Разлив, Сестрорецк («Серое шоссе, деревья и север, север, печальная и скудная, трезвая и все еще незнакомая природа, по-новому берущая за душу» – 22.5.1954 (II, 240)) – пограничная зона, т.к. граница с Финляндией тогда проходила по реке Сестре, в 30-35 км от Ленинграда.

Но материальное не защищало от смерти, еще менее от «роковых» событий. В феврале 1934 г. умер Иван Иванович Греков, и дом, который занимал большое место в жизни писателя, ему «представлялся изменившимся <...> разрушенным, как после взрыва», «сборища у Грековых стали догорать, дымить», и сама «бесконечная квартира смирилась, уплотнилась» (23.4.1955 – ТК, 93), – как метонимически одушевляя неживое, написал Шварц.

"Вечером 1 декабря 1934 года раздался стук в дверь, словно судьба постучала" (3.12.1956 – II, 212) – сообщили об убийстве Кирова. «Как всегда, в роковые для города дни вдруг ударил небывалый мороз», «...на прощание с телом <...> выставленным в Таврическом дворце, шли мы <...> по улице Воинова. Чем ближе к дворцу, тем теснее, страшнее. Никакой попытки установить порядок. Вскрикивают женщины. Брань. Сплошное человеческое месиво. Ходынка!» (4.12.1956 – II, 213).

Отмечу, что при огромном количестве литературы о последствиях убийства Кирова, открывшего эпоху Большого террора 1930-х годов, неофициальных описаний и фотографий прощания с телом ленинградского вождя почти не сохранилось, и дневники Шварца с их сравнением с Ходынкой – исключение.

В те же дни готовилось открытие Дома писателей, «...думали, что по случаю траура открытие отменяют, однако последовало распоряжение – открывать. Собралось городское начальство – и все оно исчезло навеки через несколько дней» (II, 213). В ленинградской жизни Шварца появился новый адрес – ул. Воинова, 18 (или набережная Кутузова, 4), здесь он «выступал, придумывал программы» (5.12.1956 – II, 214), здесь его «знали все» и он «знал всех» (2.1.1957 – III, 23). Но жизнь неотвратимо менялась, начались аресты, высылки из города (сначала так называемый «кировский поток» зиновьевцев, затем операция НКВД «Бывшие люди», когда за месяц, с 28 февраля по 27 марта 1935 г., из Ленинграда было выслано 30 тысяч человек). Шварц записывал: «Что делалось вокруг? Темнело. И мы чувствовали это, сами того не желая» (II, 214).

Возвращаясь в 1935 г. из поездки с группой ленинградских писателей в Грузию, Шварц сформулировал то, что связывало его с Ленинградом (записав в 1954 г., но отнеся к описываемому времени): «...двойное чувство испытывал я: чуждая природа и самые близкие

люди ждут меня. Дом и не дом <...> Только недавно поверил я, что дом мой здесь <...> вся моя жизнь, все, что было мне в жизни дорого, связалось, переплелось навеки с этой стороной России. Так уж занесло меня». Написано без особого пиетета: «занесло», – и с грустью по югу: «И чем ближе к городу, тем больше забывал я о южной своей родине» (24-25.7.1954 – II, 286-287).

Годы же становились все страшнее: 1936 – «...надстройка начала понемногу терять жильцов» (II, 214), 1937 – «...разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии» (7.12.1956 – II, 215). Описывая в тонах апокалиптических («антихристова печать», «ад, смрад которого вот-вот наступит», «воцарилась во всей стране чума», машины НКВД, "как чумные повозки за трупами" - II, 215, 217, 218) то, что происходило, Шварц одновременно трезво констатирует: «Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателей. Мы ели и пили. И смеялись <...> а что мы еще могли сделать? <...> но каждый миг был пропитан ужасом» (7.12.1956 – II, 215-216). И даже «сам быт оказался призрачным, рассыпался к 1937 году» (3.1.1954 – II, 195).

В 1938 г. арестовали Заболоцкого, Николай Олейников был арестован еще в 1937 – близкий круг редел, сам Шварц жил в ожидании «занесенного удара», «ложась спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье» (11.12.1956 – II, 218).

Такими ощущениями была пропитана жизнь творческой интеллигенции Ленинграда. Надо только помнить, что в «параллельном» мире Шварц писал рассказы, сказки и пьесы, по которым ставились спектакли в театрах, а в Доме писателя «даже слишком весело бывало <...> по вечерам» – и это тоже ленинградская жизнь 1930-х годов (правда, в дневнике об этой – нормальной – жизни сказано мельком).

1939-й оказался «чуть ли не страшнее 38-го...» (20.12.1956 – III, 12): в августе, когда «все было еще как бы спокойно», «поразило всех известие о заключении пакта с Германией» (24.12.1956 – III, 15); осенью уже «ездили в Польшу, точнее, в Западную Украину, и привозили неслыханно дешевые» вещи, что казалось Шварцу «не вполне чистым и зловецким» (9.1.1957 – III, 30); 30 ноября началась война с Финляндией.

В Ленинграде она «всех затрагивала»: ввели затемнение, появились «раненые с костылями на улицах», слова «линия Маннергейма» «стали знакомы каждому», и все понимали, что такое «слоеный пирог», когда позиции сторон перепутывались – в-общем, «чувство близкого фронта, с движениями войсковых частей, с санитарными машинами, слухами,

рассказами <...> очевидцев» (11.1.1957 – III, 31). И небывалые морозы, когда «стали лопаться водопроводные трубы в домах», «в темноте осмелели бандиты», а «трамваи по темным улицам тащились еле-еле», и их появление вызывало сильные страсти: «Тихо надвигаются из мрака, вырисовываясь уже у самой остановки, два синих фонаря, таких тусклых, что и номера не различить. Толпа, сгрудившаяся на остановке, кричит, спрашивает, какой номер. Висящие на подножке отвечают нехотя. Крики: «Проходите в вагон, тут люди замерзают». Движение, чуть не драка, и трамвай уползает в темноту» (10.1.1957 – III, 31, 30).

«То и дело» сообщали о погибших, но «быт, по своей живучести, полз по своему пути, не сдаваясь. Театры продолжали играть <...> рестораны работали», – и далее страшный вывод страшных лет: «За эти годы привыкли жить, когда рядом убивают» (11.1.1957 – III, 31). Война кончилась 13 марта 1940 г., «солдаты возвращались <...> в грузовиках, украшенных елками. Затемнение отменили, и улицы казались праздничными», но «смутная тревога не проходила» (12.1.1957 – III, 33).

* * *

Описанный Шварцем Ленинград второй половины 1920-х – 1930-х гг. – это город, в котором ощутимо сменяются историко-временные пласты, и каждый год (начиная с 1929) имеет для писателя свое выражение, содержит события, позже осознанные как «роковые». Это город людей, а не архитектурных памятников, его атмосфера передана в рассказах о самом писателе, его близких и знакомых, в «портретах» квартир и вещей. Старый Петербург дотлевал в квартире Грековых, квартирах в Песках, на Литейном, «дома собственников» на Бассейной, их обитатели казались призраками, «казался привидением» Федор Сологуб (21.2.1953 – II, 99), Ленинград же населяли «новые» по новизне в искусстве люди (кстати, многие, как и Маршак, Шварц, Олейников, Тынянов, Каверин, художники К. Малевич, Н.М. Суетин, А. Лепорская, Е. Чарушин, не родились в Петербурге-Ленинграде, а приехали сюда). Остальные горожане отмечены мельком: молочница-финка, домохозяйки и инвалиды около рынка, домработницы; из рабочих – лишь мастера типографии.

Наряду с не близкими людьми, были у Шварца и «не слишком близкие» части города. Только центр, Пески и часть Петроградской стороны являлись для него привычными: *«Большой город состоит из нескольких, непохожих друг на друга. И роты Измайловского полка (с 1923 г. Красноармейские улицы – Е.Р.), проспект (Московский – Е.Р.), Обводный канал кажутся*

мне совсем непохожими на тот Ленинград, в котором я обычно живу» (23.1.1957 – III, 42). Это и личное чувство, и, вероятно, ощущение человека из маленького города, выделяющего в мегаполисе ограниченную среду.

Только однажды Шварц высказался прямо о любви к Ленинграду, сохраняющему *«строгое, высокое выражение»*, и к *«его строгим и растерянными, разжалованным дворцам»* (25.7.1954 – II, 287), когда писал о чувстве дома. В 1930-е годы он поверил, что дом его здесь.

3

«Неслыханные будни» блокады

Прелюдией к самым страшным годам в истории *города послужила для Шварца «странная встреча»* в начале 1940 г. на Литейном проспекте: *«Тощий старик с большим лицом и тощая рыжая женщина, задыхаясь и спеша»*, шли навстречу, и *«почудилось, что это война и голод спешат к нам»*. Хотя писатель *«не поверил предчувствию»* (12.1.1957 – III, 32-33), но запомнил его.

Жизнь пока шла, как обычно, и *«тревога, вспыхнувшая при чтении газет, ничем не поддерживалась»*, а люди *«отвлекались» «косностью <...> быта»* (25.1.1957 – III, 44), неоднократно названного Шварцем спасителем от превратностей жизни. Вспоминая это время, Евгений Львович пишет, что уходили они из дома по вечерам редко, *«как будто прятались, словно отдыхали, нет, старались отдышаться после невидимых и непрерывно угрожающих ударов»* (14.1.1957 – III, 34), ведь в конце 1930-х *«мы жили как в бочке, сброшенной с горы. Нас колотило и швыряло, лупило»* (2.6.1956 – ТК, 429). Домашние вечера делила со Шварцами возвращенная из ссылки жена арестованного Николая Заболоцкого, Екатерина Васильевна, и их дети Никита и Наташа Заболоцкие.

1940 год в жизни писателя казался удачным: премьеры *«Снежной королевы»* в Московском театре для детей¹²³ и *«Тени»* в Театре Комедии, передача о нем на радио,

¹²³ В Ленинграде, в Новом ТЮЗе, *«Снежная королева»* была поставлена еще в марте 1939 г.

декада ленинградского искусства в Москве с приглашением на прием в Кремль, – но трудно было *«понять себя и свою работу и ее размеры в путаные и тесные времена»* (16.1.1957 – III, 36). И «назревали несчастья» (13.1.1957 – III, 33): болезни отца, матери, смертельная болезнь Ю. Н. Тынянова, ощущавшегося близким человеком, – и большая политика вмешивалась в спасительный быт, не спрашивая разрешения. Сначала казалось – это просто *«пожар в соседнем квартале»*, но когда газеты сообщили о взятии немцами Крита, Шварца *«охватило то же чувство, с каким»* читалась когда-то «Борьба миров» Уэллса: *«Он первый угадал, что нам придется наблюдать не только судьбы людей или семей, а судьбы народов»* (23.1.1957 – III, 43). "Запах гари" будущих пожаров «проникал» в Дом творчества в Детском Селе¹²⁴, где жил Шварц в апреле 1940-го, и Екатерининскому дворцу, *«такому спокойному и уверенному в своей долговечности»*, оставалось жить нетронутым совсем недолго (25.1.1957 – III, 44).

Неясное чувство вины смущало радость посещения новых окрестностей Ленинграда на Карельском перешейке: Оллило (Солнечное), Куоккала (Репино), Териоки (Зеленогорск)¹²⁵. Общее впечатление: *«необжитость, презрительная небрежность»* (14.2.1957 – III, 63) новоселов, следы финской войны, *«взъерошенные ощущения»* (15.2.1957 – III, 64) в доме И. Е. Репина. Внимательный к мелочам Шварц отмечает, что в 1940 г. ленинградские дети со страстью собирали фантики, объясняя это *«причинами историческими»* – присоединением Эстонии и Латвии, откуда *«шли конфеты в бумажках, непривычных и ярких»* (22.2.1957 – III, 69).

1940-й год для мемуариста – это ощущение неблагополучия, несмотря на творческие удачи, предчувствия, страшные сны, смерть отца. 1941-й *«притворялся смирным»*, но *«стало тихо <...> и беспокойно, как перед грозой»* (25.2.1957 – III, 72), и везде чудилась *«тень, отбрасываемая приближающимся роковым днем»* (4.3.1957 – III, 75): зловещим показался снег, выпавший 2 июня, пойманное в Сестрорецке 20 июня «чудище» – лосось *«небывалой величины»* (8.3.1957 – III, 78), газетное сообщение о готовящемся 22 июня вскрытии гробницы Тимура. Разумеется, это написано *после*, когда было известно, что последовало за «вкрадчивым» началом 1941-го, но чуткие души ощущали беспокойство и тогда. А поскольку объяснить блокаду ее не пережившим, по мнению Шварца, невозможно¹²⁶, он

¹²⁴ Царское Село, с 1918 по 1937 г. – Детское Село, с 1937 г. – город Пушкин.

¹²⁵ Карельский перешеек отошел к СССР в 1940 г., после советско-финской войны, все переименования – с 1948 г.

¹²⁶ Ср. слова блокадницы сотрудницы Эрмитажа: "Только тот, кто это пережил, тот понимает" (хотя авторы книги спорят с этим мнением). – *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. – Лениздат, 1984. – С. 71.

задерживается на деталях быта-спасителя, описывает едва ли не по часам предвоенные дни, пытаясь даже в рассказе отодвинуть приближение катастрофы.

Во множестве текстов рассказано, *где и как* услышали люди об объявлении войны, Шварц – на даче, и его охватило чувство *"физической тоски. Не страха, страх – чувство ясное, заставляющее действовать <...> а тоска душила"* (30.3.1956 – ТК, 376), хотя в дачном поезде по дороге в Ленинград царило *"веселое, даже праздничное оживление"*, играл баян и весь вагон пел хором. Люди верили, что теперь *"всё будет иначе"* (10.3.1957 – III, 80), но писателю представлялось, *"что наступил конец света"* (ТК, 376).

В дневнике 1957 г. он сравнил свое восприятие с рыбьим: *«Так, вероятно, чувствуют себя только что пойманные рыбы»,* – и талантливо описал мысли карпа *«за окном, в аквариуме, в рыбном магазине на углу Троицкой»* (10.3.1957 – III, 80; назван точный адрес, хотя с 1929 г. улица носила имя А.Г. Рубинштейна). В связи со сравнением людей и рыб, одинаково не знающих будущего, Шварц характеризует происходившее с городом в последние 20 лет: *«Когда я приехал в 21-м году, был почти до корня вытравлен старый Петроград. Но вот он заполнился, заселился, перенаселился. 37-й год заново выкосил людей. И вот коса опять занесена над городом».* Впрочем, апокалиптическое *«коса занесена»* сменяется саркастическим *«чувством сачка, опущенным над нашим аквариумом»* (11.3.1957 – III, 81).

Всегда веселый в воспоминаниях других, Шварц печален в своих дневниках, а страницы о начале блокады – одни из самых безнадежных. Писатель признается, что не находит верной интонации: *«Пишу, и у меня такое чувство, будто я говорю равнодушным голосом, когда в комнате покойник. Ленинград был обречен. Только рыбная <так! – Е.Р.> ограниченность не давала охватить явление во всей сложности».* Наверное, писатель понимал обреченность города уже в первые недели войны, потому и охватила его *«смертная тоска»* и началась у него, так же как у режиссера Н.П. Акимова, нервная экзема (III, 81).

Город начал меняться сразу: вестибюль Дома писателей в день отъезда детей стал похож на вокзал, и почему-то открыли парадную дверь в Самбургский переулок¹²⁷, *«открываемую только в день похорон»* (13.3.1957 – III, 83), а *“«Европейская» гостиница перестала существовать, превратилась в госпиталь“* (16.3.1957 – III, 86). Писатель продолжает быть топографически точным: прощание с уезжавшей матерью происходит *«на углу Петра*

¹²⁷ Название до 1952 г., затем – Кричевский пер.

Лаврова» (III, 83), тревога застаёт его «на углу Владимирской»¹²⁸, рядом с первым петроградским пристанищем 1921 г. (и «то время, беспокойное, голодное, ничем не подкрепленное, словно висящее в воздухе» представилось «спокойным и прочным»¹²⁹); когда жгут архивы и «в небе над крышами домов летают черные листики сгоревшей бумаги», Шварц шагает по Литейному проспекту (III, 86) и т.д.

Главное в воспоминаниях, конечно, не улицы, а люди, первые смерти, которые «почти замалчивались», и похороны проходили «глухо, почти тайно», чтобы «не упало настроение». Шварц же первую весть о смерти 30 июня знакомого – Льва Канторовича¹³⁰, «самого здорового, жизнелюбивого и жизнерадостного из нас» (III, 81) – принимает как «удар, причинивший почти физическую боль», но фиксирует изменение восприятия – равнодушие – уже в августе.

Наряду с топографической точностью, рассказ о военном Ленинграде неточен в датах, автор признается, что «лето 41-го до 8 сентября спуталось <...> в один клубок» (III, 86). Некоторые временные вехи он реконструирует: грузовики около комендантского управления для эвакуации офицерских семей могли быть увидены только до взятия немцами станции Мга (т.е. до 30 августа), репетиции пьесы Шварца и М. Зощенко «Под липами Берлина» в Театре Комедии происходили в июле, т.к. при воспоминании о них писатель испытывает «знакомую тоску», которая «начала отпускать» (15.3.1957 – III, 85) в августе, когда он нашел свое место – стал работать на радио¹³¹. Но многое в рассказе хронологически смещено: например, сообщение Ю. Германа о том, что Луга сдана, отнесено к периоду «до отъезда детей», т.е. до 5 июля, тогда как это произошло 20 августа; или прекращение трамвайного сообщения, отнесенное к концу ноября, а на самом деле

¹²⁸ До 1923 г. и после 1991 г. – Фурштатская улица, от Литейного пр. до Потемкинской ул.

Интересно отметить, что так много упоминается углов улиц – названные места, так же как шварцевские адреса Петрограда 1920-30-х гг.: Дом Искусств на углу Невского, Мойки и Большой Морской улицы (ул. Герцена), Дом Книги на углу Невского и канала Грибоедова, квартиры К. Чуковского, В. Каверина, Н. Тихонова, Б. Житкова, Н. Суетина и А. Лепорской, И.И. Грекова, Н.П. Акимова и Н.Н. Кашеверовой, Л.Ф. Макарьева и В.А. Зандберг, съемная квартира самого Е.Л. в 1929-31 гг. на углу 7-й Советской и Суворовского проспекта, писательский дом на канале Грибоедова, угол Малой Конюшенной ул. (ул. Софьи Перовской) и Чебоксарского переулка. Вероятно, это только случайность, но и в ней, может быть, отражается неуют города, а во время войны – опасность его геометрии.

¹²⁹ Всё поколение, пережившее разруху в Петрограде времен революции и Гражданской войны, сравнивало с ней испытания Великой Отечественной войны (что отразилось, в том числе, в названии печки-буржуйки), см., напр.: Адамович А., Гранин Д. Указ. соч. – С. 371.

¹³⁰ Канторович Лев Владимирович (1911-1941) – писатель, сценарист, театр. художник, участвовал матросом в полярных экспедициях, служил в РККА, участвовал в польском походе 1939 г., в финской войне. Погиб в боях за Выборг.

¹³¹ О работе Шварца на блокадном радио см.: Рубашкин, А.И. Голос Ленинграда: Ленинградское радио в дни блокады. 2 изд. – Л., 1980. – С. 9-27.

произошедшее 3 января 1942 г. (в конце ноября начались постоянные перебои, 8 декабря остановились почти все трамваи)¹³². И мелькают выражения, не свойственные ранее воспоминаниям Шварца: *«Примерно в это же время», «это, видимо, было раньше», «я все прыгаю во времени»* (15-16.3.1957 – III, 85-86).

Точных дат в воспоминаниях о блокаде четыре: отъезд детей 5 июля (с группой писательских детей уехала и дочь Шварца, Наташа), *"роковой день 8 сентября"*, когда замкнулось кольцо окружения и разбомбили Бадаевские склады¹³³, *"последний сильный налет" "в ночь на 7 ноября"* (31.3.1957 – III, 102) и 10 декабря, день эвакуации. Бомбежка и пожар 8 сентября описаны подробно: *"пухлые звуки взрывов", "огромное, тяжелое, курчавое, черное, медленно разворачивающееся облако дыма", "снопы искр правильного рисунка"*, разговоры и слухи о шпионах (18-19.3.1957 – III, 88-89), – потом всё стало рутиной.

Погода (постоянная составляющая любых описаний Ленинграда) в июле стояла жаркая – *«тоскливые, ясные, жаркие дни», «окна оставались открытыми на ночь»* – и обострилось восприятие звуков: сирен (*"отвыли" "машинную и вместе животную жалобу"*) (10.6.1955 – ТК, 146), зениток, радио, которое будило в 6 утра – *«речи и марши, марши и речи»* (10.3.1957 – III, 80), а когда они замолкали – *"проклятый звук" метронома, стук домино во дворе в первые дни, когда казалось, "уже не костяшки, а словно кости стучали о кости"* (30.3.1956 – ТК, 376). Позже погода не упоминается, кроме теплой ночи 8 сентября и *«ясного звездного неба»* (25.3.1957 – III, 95) с северным сиянием (без временной привязки); звуки же становятся всё громче – бомбежки, обстрелы, *«машинно-животный завыв»* немецких самолетов (13.6.1955 – ТК, 149).

Вспоминая блокаду меньше, чем за год до смерти, Шварц делает *«печальное открытие»*: *«...человек может притерпеться к чему хочешь <...> И в конце концов перестать удивляться, что живет подвешенный за ногу к потолку, в крови и навозе», – «война вдруг стала нормой», начала восприниматься как обыденность, даже известия о смерти – их «выслушали и приняли*

¹³² Сведения приведены с сайта Музея электрического транспорта С.-Петербурга: http://getmuseum.ru/blokadniy_tramvay (дата обращения 9.5.2019).

¹³³ Бадаевские склады – склады им. А. Е. Бадаева, комплекс складских помещений, построенный в 1914 г. на участке между совр. Московским пр., Черниговской и Киевской ул. Использовался для хранения продовольствия, в результате налетов авиации 8 и 10 сентября 1941 г. на Бадаевских складах сгорело около 40 помещений, в сознании блокадников пожар на Бадаевских складах стал символом начала голода. См., напр.: *Адамович А., Гранин Д.* Указ. соч. – С.53-54, 318-319, 324-325; *Берггольц О.* Дневные звезды. – М., 1975. – С. 45; *Н. Н. Никулин.* Воспоминания о войне. – СПб., 2007. – С. 13.

к сведению», но сил на восприятие не осталось, «мы оравнодушнели» (17-18.3.1957 – III, 87). Это слово, пытающееся объяснить чувства блокадников, повторяется многократно.

Быт – спаситель «сошел с положенного места, сошел с ума» (24.3.1957 – III, 93), но равнодушие касалось всего, кроме голода, о котором Шварц пишет немного. 9 сентября в последний раз пришла молочница, а домработница по поводу закрытия коммерческих магазинов «торжественным голосом заявила: «Поздравляю, всем нам умирать голодной смертью»» (20.3.1957 – III, 90), – и эта реплика одна из двух-трех смешных деталей на 27 страницах текста о блокаде. Еще одна запись о еде должна относиться ко времени после 20 ноября, когда введена была самая низкая норма выдачи хлеба, но Шварц, кажется, распространяет ее на больший период, т.к. описывает свой блокадный рацион сразу после воспоминания о встрече с Ахматовой, уехавшей из Ленинграда в конце сентября: «Я каждый день ходил в Дом писателя, где выдавали мне судок мутной воды и немного каши. И в булочной получали мы 125 грамм хлеба. И несколько монпасье. И всё» (25.3.1957 – III, 94). В другой записи уточнено: «...по две ложки белой каши, не то овес, не то перловка» (29.3.1957 – III, 100).

Спасительная и страшная сила привычки постепенно переставала помогать, с каждым днем становилось хуже: «Мы привыкали быстро, но жизнь обгоняла нас¹³⁴. И главное – хуже становился хлеб. Эта влажная масса уже и не походила на хлеб». Дальше сказано просто: «А именно хлеб, только хлеб был основой жизни», – несмотря на то, что в следующей фразе сообщается о премьере пьесы А. Гладкова «Давным-давно» в Театре Комедии 7 ноября. Но Шварц считает, что «случаи, подобные вышеописанному <...> были не самыми характерными общей обстановке...» (29.3.1957 – III, 99), потому что «блокада – это будни» (III, 100). (Кстати, устаревшее «характерными обстановке» вместо «характерными для обстановки» подкрепляется еще несколькими архаизмами: медсестры названы сестрами милосердия, Чебоксарский переулок (куда выходит один из фасадов писательского дома) – Шведским, каковым он был до 1877 г., Малый оперный театр поименован и МАЛЕГОТом (как он и назывался в 1926-1964 гг.), и бывшим Михайловским, а театр им. Пушкина, или Акдрама – Александринкой).

¹³⁴ Ср. со словами математика Е.С. Ляпина: "Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило". – Адамович А., Гранин Д. Указ. соч. – С. 53.

Ужас блокады состоял в "буднях, нарастающих с каждым днем", когда любое их нарушение – даже близкое попадание снаряда, даже разрушения – воспринималось признаком жизни: "Разорвалась шрапнель <...> странно сказать, все мы оживлены. Чем-то прервалась медленная удушающая рука будней" (III, 100). Или: "...дом наш закачался так сильно, что лампочка закрутилась над столом <...> Мы взглянули друг на друга и засмеялись. В те дни выработался этот странный способ отвечать на нечто выходящее из привычного ряда" (27.3.1957 – III, 97), или при виде пожара 8 сентября: "...нам было весело, как детям" (19.3.1957 – III, 89), – а вечер, когда немцы, названные "врагами наших жактов", бросили 30 зажигательных бомб, "показался веселее других", и громкие разрывы вызывали "праздничное чувство", "радовали бессмысленно" (30-31.3.1957 – III, 101).

Тревоги были жизнью, а "безнадежные будни" (23.3.1957 – III, 93) душили голодом, темнотой ("Никогда не переживал я подобной темноты на улицах. Ни неба, ни земли, идешь ощупью..." (17.7.1957 – III, 181)) и холодом (о нем почти не сказано, в сравнении с картиной замерзшего Петрограда 1921-22 гг.) и еще отсутствием ясности в том, "что тебе делать, где твое рабочее место" (III, 100). В июле Шварц записался в ополчение, как и многие писатели, но был откомандирован на радио. Тогда же он и Зощенко написали пьесу "Под липами Берлина", причем писали очень быстро – следующую картину, пока репетировалась предыдущая. Спектакль, премьеры которого в Театре Комедии состоялась 12 августа, успеха не имел, т. к. "шел 41-й год, а <...> описывались события 45-го" (15.3.1957 – III, 85), и скоро был снят с репертуара.

"...труднее всего было найти свое место именно в Ленинграде", на фронте "знаешь <...> что тебе положено делать" (31.3.1956 – ТК, 377), – так считал Шварц, встречая приезжавших оттуда Юрия Германа¹³⁵, Николая Брауна¹³⁶, Евгения Рысса¹³⁷. Е. Рысс служил корреспондентом ТАСС и ходил на фронт пешком, он поселился в эти дни у Шварцев, и его рассказы, от которых "так и веяло свободой", очень помогали "в нашем плену" (27.3.1957 – III, 96), – вспоминал Е.Л.

¹³⁵ Известный писатель Юрий Павлович Герман (1910-1967) во время войны служил при Политуправлении Северного флота и на Беломорской военной флотилии в качестве военкора ТАСС и Совинформбюро.

¹³⁶ Браун Николай Леопольдович (1902-1975) – поэт, работал учителем, сотрудничал в различных ленинградских журналах. Во время войны служил во флоте, участвовал на одном из кораблей Балтийского флота в переходе из Таллина в Кронштадт 27-28 августа 1941 г., позднее – военный корреспондент в Ленинграде.

¹³⁷ Рысс Евгений Самойлович (1908-1973) – писатель, публицист, сценарист, автор рецензий на спектакли по пьесам Е. Шварца.

Часть писателей ушла в ополчение под командованием Сергея Семенова¹³⁸, многие погибли (почти каждому посвящено несколько строк): *"Длинный, молодой, преждевременно лысеющий со лба"* Марк Гейзель,¹³⁹ *"тощий, с длинной шеей, крупным ртом, высокий, занимающий свое место уверенно и неуступчиво"* Орест Цехновицер,¹⁴⁰ *"тихий и внимательный"* Филипп Степанович Князев¹⁴¹ (17.3.1957 – III, 87). Продолжалась, впрочем, и бессмысленная деятельность – *"мы старательно заседали"* (27.3.1957 – III, 97).

В воспоминаниях писателя о блокаде о многих сказано мельком, только об Анне Ахматовой, Ольге Берггольц и Э. Голлербахе¹⁴² – подробнее. Вид Ахматовой среди *"безумного военного блокадного быта"* стал *"единственным за время блокады не будничным ощущением"*: *"...длинный сводчатый подвал бомбоубежища. Пыльные лампочки, похожие на угольные, едва разгоняли темноту. И в полумраке <...> Ахматова и Данько¹⁴³, обе высокие, каждая по-своему внечеловеческие, Анна Андреевна – королева, Елена Яковлевна – алхимик. И возле них сидела черная кошка..."* (25.3.1957 – III, 94). Несмотря на внебудничность

¹³⁸ Семенов Сергей Александрович (1893-1942) – писатель. С 1918 г. большевик, служил в РККА, занимал руководящие посты в учреждениях культуры Ленинграда, член правления Союза писателей с 1934 г. Участник финской войны, во время Великой Отечественной батальонный комиссар на Волховском фронте, умер во фронтовом госпитале.

¹³⁹ Гейзель Марк Аронович (1909-1941) – советский журналист и детский писатель, с 1927 г. – постоянный сотрудник детской газеты «Ленинские искры», где вел сатирическую «газету в газете» – «Баклажка». В 1938 г. вступил в КПСС. Участвовал в советско-финской войне. После начала Великой Отечественной войны пошел добровольцем в армию, военкором в газету «Красный Балтийский флот». Погиб 28 августа 1941 года вместе с редакцией газеты во время перехода эскадры Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. 23 января 1963 года, к 20-летию снятия блокады Ленинграда, Гейзель был посмертно принят в Союз писателей СССР

¹⁴⁰ Цехновицер Орест Вениаминович (1899-1941) – советский литературовед, театровед, писатель, публицист, педагог, профессор, кандидат филолог. наук (1938). Участник Гражданской войны, член партии с 1932 г., член Союза писателей СССР (с 1933). В 1936-1937 – заведующий рукописным отделом Института Русской литературы, ученый секретарь и заведующий архивом Пушкинского дома (ИРЛИ), с 1938 г. профессор Ленинградского университета. Участник Великой Отечественной войны, добился зачисления на флот. В конце июня 1941 г. в должности полкового комиссара Политуправления Балтийского флота, находился в Таллине, 28 августа 1941 г. погиб во время перехода кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

¹⁴¹ Князев Филипп Степанович (1902-1941) – русский советский писатель и журналист. Работал зам. редактора журнала «Резец», зам. редактора журнала «Литературный современник». После начала Великой Отечественной войны служил на Балтийском флоте, участвовал в боях под Таллином. Погиб 29 августа 1941 года при переходе Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

¹⁴² Голлербах Эрих Федорович (1895–1942) – искусствовед, художественный и литер. критик, поэт, библиограф и библиофил, один из организаторов Общества библиофилов. Работал в Русском музее, Госиздате. Автор книг о В. Розанове, А. Ахматовой, А.Н. Толстом, портретной живописи в России 18 в., о русских художниках, антологии "Царское Село в поэзии" и др. Эвакуирован из Ленинграда в марте 1942 г., умер от истощения.

¹⁴³ Данько Елена Яковлевна (1897/98-1942) – писательница и художница. Работала художницей на Петроградском фарфоровом заводе, кукловодом и сценаристом кукольного театра, членом коллегии ПЮЗа, написала ряд книг по истории фарфора, была историографом Ленинградского фарфорового завода. Умерла от истощения при эвакуации из Ленинграда в феврале 1942 г. Быть может, определение Шварцем Е.Я. Данько как алхимика связано и с воспоминанием о Б. Житкове, который "серьезно доказывал", что она "ведьма" (II, 135).

Ахматовой, как кажется, Шварц не очень одобряет¹⁴⁴ то, что для эвакуации она "потребовала провозжатую", "иначе она не доберется до места", но в связи с желанием поэта, чтобы ее сопровождала Ольга Берггольц, писатель попадает в квартиру последней.

На блокадных страницах мемуаров не описаны квартиры, которым посвящено так много места в рассказе о 1920-30-х гг., исключение – дом Берггольц: "...на Невском, где-то напротив улицы Перовской¹⁴⁵. Длинные комнаты <...> Синие обои. Скромная мебель. И среди этой обстановки, рассчитывающей на жизнь обычную, человеческую" – муж поэтессы, Николай Молчанов¹⁴⁶, пораженный "божьей болезнью" (26.3.1957 – III, 95), эпилепсией, и его трагическая просьба: помочь эвакуировать беременную жену, тогда как известно, что списки на эвакуацию составляет "руководство" "нарочито таинственно" (19.3.1957 – III, 89). Эпизод рассказан почти бесстрастно (хотя на глазах Берггольц выступили слезы), а рассказ Шварца движется – без перерыва – к другим трагедиям: "...Ольга решительно отказалась эвакуироваться с Ахматовой¹⁴⁷, и с ней отправилась в путь Никитич. Первым умер у нас дома с голоду молодой актер..." (26.3.1957 – III, 96).

Шварц описывает жуткую закономерность блокадной смерти: "Наметились два вида смерти. Человек умирал внезапно или теряя силы понемногу – сляжет и не встанет". Актер Крамской "упал в коридоре", комендант надстройки "умер на ходу с голоду" (27.3.1957 – III, 96)¹⁴⁸, второму виду смерти нет примеров, но писатель "увидел уже на улице людей с темными лицами¹⁴⁹ и вопросительным выражением глаз. Даже укоризненным" (29.3.1957 – III, 100). Кроме укоризны, Шварц различает на лицах ужас, люди "как будто хотели

¹⁴⁴ Скрытое неодобрение слышится мне и в след. записи: "Рядом, в Шведском переулке, был убит старый наш дворник, и управхоз хоронил его, и все ежился потом весь вечер..." (III, 93), - т.к. известно, что его послала за папиросами Ахматова (См. Воспоминания З.Б.Томашевской /Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. – Л., 1990. – С.422.)

¹⁴⁵ О. Берггольц и Н. Молчанов в 1932-43 гг. жили по адресу: ул. Рубинштейна, д. 7, кв. 30, в доме-коммуне по прозвищу "слеза социализма".

¹⁴⁶ Молчанов Николай Степанович (1909 - 1942) - литературовед, журналист, сотрудник Публичной б-ки. В 1942 г. во время дежурства на крыше был ранен, вскоре умер, похоронен на Пискаревском кладбище. Ему посвящены многие стихи О. Берггольц.

¹⁴⁷ Ахматова уехала 28 сент. См. запись Н. Н. Пунина от 25 сент. 1941 г.: "Ан. (Ахматова – Е.Р.) послезавтра улетает из Ленинграда. (Ан. уже давно выехала отсюда и последнее время жила у Томашевского в писательском доме, где есть бомбоубежище. Она очень боится налетов, вообще всего) <...> Странно мне, что Аня так боится: я так привык слышать от нее о смерти, об ее желании умереть. А теперь, когда умереть так легко и просто? Ну, пускай летит!" (Пунин Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма. Сост., предисл. и коммент. Л. А. Зыкова. – М., 2000 г. – С. 222). О. Берггольц потеряла ребенка, Н. Молчанов умер 29 января 1942 г.

¹⁴⁸ Ср. с подобными рассказами в "Блокадной книге" – Указ. изд. – С. 58-59, 66 и др.

¹⁴⁹ Темными лица были и от бытовых причин: копоти коптилок и буржук, отсутствия воды и сил для умывания.

рассказать, как их обманули, как незаметно ото дня ко дню затащили в ловушку, из которой выхода нет" (2.4.1957 – III, 103). Судя по этим словам, Шварц понимал вину власти в блокаде Ленинграда, о которой нельзя было писать свободно и в 1957 году.

Названа и другая смерть: при бомбежке погибла "кротчайшая, вернейшая Татьяна Евсеевна", секретарь издательства "Советский писатель" (28.3.1957 – III, 99), и вместе с ней еще 18 человек; "с самым будничным выражением" (27.3.1957 – III, 97) увозили убитых после прямого попадания в дом на Мойке. Было и еще нечто страшное, что стимулировала или вызывала блокада – мания преследования у Э. Голлербаха¹⁵⁰, голодный психоз коллекционера Жака Израилевича¹⁵¹.

Несмотря на всё, Шварц пишет об отсутствии страха: "Двух вещей не мог я представить себе – что меня убьют или возьмут Ленинград" (14.3.1957 – III, 83). Эта уверенность была у писателя общей с большинством ленинградцев. Он описывает среди них немногих: подростков 13-14 лет, "так называемых связистов" (9.6.1955 – ТК, 144), "самых отчаянных ребят со всего двора", которые всё знают, охотятся за голубями в церкви Спаса-на-Крови и, возможно, подворовывают; "суетных и злобных баб" (22.3.1957 – III, 91) из домового управления, домработниц, управхоза из дворников и других обитателей "писательского" дома. Они появятся потом в пьесе Шварца "Одна ночь".

В военном Ленинграде Шварц пробыл почти полгода, уехав в начале декабря, первого из самых страшных месяцев блокады, в ноябре "город еще держался на ногах <...> мертвых еще не бросали где придется. Но уже установилось во всем существое города нечто такое, что понять мог только переживший" (31.3.1957 – III, 101). Писатель не рисует в воспоминаниях общей картины, он описывает небольшую, центральную, часть Ленинграда, свои основные адреса: Дом писателей на ул. Воинова, Дом радио на ул. Ракова (Итальянской), здание БДТ (Большого Драматического театра) на Фонтанке, куда переехали Театр Комедии и Управление по делам искусств. Другие маршруты – на междугородную телефонную станцию по вызову С. Маршака, к писателям Т.Г. Габбе¹⁵² и И. Меттеру¹⁵³, в Смольный,

¹⁵⁰ Шварц описывает разговор с Голлербахом, когда он "с ужасом убедился, что у бедняги мания преследования" (III, 98).

¹⁵¹ Израилевич Яков (Жак) Львович (1887-1953) – коллекционер, торговец антиквариатом. В 1920-х гг. секретарь комиссара ТОО Наркомпроса М. Ф. Андреевой, в 1932-36 гг. – художник-консультант Дома писателей, с 1936 г. – консультант ЛениЗО. См. его подробный портрет, сделанный Шварцем в январе 1954 г. – II, 202-212.

¹⁵² Габбе Тамара Григорьевна (1903-1960) – писательница, переводчица, фольклористка, драматург, редактор (член "маршаковской редакции") и литературовед.

чтобы просить за остающихся писателей – *"выделялись из однообразия будней"*, становились *"путешествием по знакомым и незнакомым улицам"* (III, 100).

Единицей города для Шварца стал дом, последняя защита от смерти или угроза при прямом попадании¹⁵⁴. В собственном важны теперь не квартиры, а чердак *"с его особым застоявшимся запахом дыма и глины"* и лестницей на крышу; пост наблюдения – *"деревянная площадка с перилами под навесом из листового железа на крыше левого корпуса"*, – и бомбоубежище, куда Шварц не ходил, т.к. ощущал себя там "в западне" (10.6.1955 – ТК, 145). Упомянуты и дом Нобеля¹⁵⁵ напротив, где размещались только учреждения и поэтому зажигалки гасились дольше, чем в "писательском" доме (*"весь дом роem поднялся и сделал свое дело"* 12.6.1957 – ТК, 148); здание на углу Конюшенной площади с магазином "девятка", куда попала фугаска, выбросив тела людей до середины площади; Малый оперный театр, который *"повернулся неожиданной стороной"*, обнаружив *"ясно освещенные, сводчатые подвалы"* (24.3.1957 – III, 94), превращенные в бомбоубежища; бывший дом Энгельгардта с "культурной пивной"¹⁵⁶, похожей "на тяжелораненую", т.к. после

¹⁵³ Меттер Израиль Моисеевич (1909-1996) – писатель, сценарист. Во время войны работал на блокадном радио, на погромном собрании писателей в Ленинграде (1954) был единственным, кто аплодировал М. М. Зощенко. Записан рассказ брата И. Меттера, физика Исаака Меттера, об этом посещении Шварца (ошибочно отнесенном к встрече Нового 1942 г.): «Запомнилась мне, конечно, встреча 1942 Нового года. К нам примкнули Евгений Шварц и Евгений Рысс – наши хорошие друзья. Стол у нас был по блокадным меркам неплохой. Я как-то вспомнил, что у моей маленькой дочери в комнате была кухня для кукол, а в шкафчиках этой кухни она хранила несколько макаронин, крупу, сахар. И я отправился под Новый год к себе на квартиру, на Тверскую. Я не был в ней больше пяти месяцев и нашел то, что искал. Но, кроме того, в ванной комнате я также нашел бутылку рыбьего жира! И теща меня порадовала: она любила гомеопатию, и в её буфете я обнаружил немало пакетиков со сладкими гомеопатическими лекарствами. А еще как раз под первое января я был в институте у себя на кафедре, и заведующий лабораторией выдал мне из найденных запасов денатурированный спирт. Я его дома почистил через активированный уголь из противогаза. Наконец мы за новогодним столом! На тарелке горят два фитоля в костном жиру, в маленьких блюдцах возле рюмок со спиртом налит рыбий жир. Ну вот, рюмки подняты, чокаемся... Но останавливает нас Евгений Шварц: "Одну минутку", – говорит он и достает из пиджака бумажник, а из него плоский пакетик 4 на 4 сантиметра. Разворачивает его – а там крохотный кусочек сыра! Разрезаем, конечно, на четыре части. И пируем, забыв все горести. Было это почти 60 лет назад, а вспомнить об этом, к сожалению, могу только я один» *Бекетова, Т.* А завтра была война.../ Тропами Гилеля// Электр. ресурс ami-mou.narod.ru/A257/A257-073.htm (дата обращения 8.6.2019).

¹⁵⁴ Подтверждение этому наблюдению я нашла в "Записках блокадного человека" Л. Я. Гинзбург: *Гинзбург Л. Я.* Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. – Л., 1989. – С. 625

¹⁵⁵ Бывшее здание товарищества "Братья Нобель" (особняк М. А. Горчакова) по адресу: кан. Грибоедова, 6/2, построенное в нач. XIX в., неоднократно перестраивалось.

¹⁵⁶ Дом Энгельгардта по адресу Невский пр., 30, где находится Малый зал Филармонии. Шварц вспоминает о встречах в "культурной пивной" с Хармсом, Заболоцким, Олейниковым (см.: ТК, 226-228), пишут о ее посещении литературоведы Г. Е. Эткинд, И.З. Серман. (В 1936-39 гг. "Местом наших самых горячих споров была пивная. Она находилась на канале Грибоедова напротив Дома книги. Вместо стульев там стояли приспособленные для сидения бочки. Там не бывало оченьлюдно, а наши разговоры по терминологии и мелькавших в них именах, видимо, не привлекали нежелательных слушателей", - *Серман И.З.* Человек тридцатых годов, или четверо в черных шляпах// *Russian Studies – Ежеквартальник русской филологии и культуры.* Vol. 3. – Спб., 2001. – С. 287). В ноябре 1941 г. центр. часть здания была разрушена бомбой, завалы закрыли фанерными щитами с рисунком фасада, дом восстановлен в 1944-48 гг., одним из первых в городе.

попадания бомбы её *"как бы временно перевязали – забили фанерой"* (18.9.1955 – III, 144); дом на углу (опять!) Мойки и Марсова поля, *"закрывающий наш отрезок канала"*, тоже разрушенный бомбой. В уничтожении домов *"среди белого дня с такой простотой"* проявляется для Шварца *"особая подлость и холодность войны"* (27.3.1957 – III, 97) и одновременно ее безумная *"будничность"*: *"...что могло быть столь неистово прозаично, как разрушенный бомбой дом с перемешанными обломками кирпичей, извержениями фанновых труб и разорванными на части людьми"* (1.4.1956 – ТК, 378).

Писатель уезжает в эвакуацию с *"путаницей чувств"* (3.4.1957 – III, 105): мучает бессмысленность нахождения в вымирающем городе, но он чувствует себя виноватым перед остающимися и думает, что *"на Большой земле"*, *"за пределами Ленинграда <...> никому не нужен"*. Дом Шварцев, с таким трудом созданный в 1930-е, *"растаскивается по лоскуткам"* (1.4.1957 – III, 103): продаются белье, вещи, фарфор, чтобы получить деньги на отъезд, мучает *"обжигающее"* воспоминание об оставленных кошках (которых все же сохранили до начала декабря, несмотря на предложение *"до истеричности практичного"* писателя А. А. Морозова¹⁵⁷ съесть их). Дорога на аэродром на Ржевке, где *"домики до оскорбительности обычные"* рядом с *"городом, погибающим от трупного яда"* (4.4.1957 – III, 105), полуторасуточное ожидание самолета без крошки еды, первые за войну слезы жены, умирающие от голода люди и рядом беззастенчивые бабы с курами и белым хлебом – это еще блокада. Она не отпускала и в поезде, когда писателю приснился сон о возвращении в Ленинград, который *"стал еще мертвее за эти дни"*, и Шварц проснулся *"в отчаяньи, словно отравленный"* (8.4.1957 – III, 109).

Определением *"отравленный"* будет характеризоваться город после возвращения из эвакуации, где тоже было нелегко – без пристанища и вещей в среде, где прижимистость считалась добродетелью. Писатель *"чувствовал себя ленинградским человеком..."* (20.4.1957 – III, 119), но не мог объяснить, что такое блокада, потому что *"между Кировом и Ленинградом была такая же непроходимая черта, как между жизнью и смертью"* (23.4.1957 – III, 121). В письме С. Я. Маршаку от 11 апреля 1942 г. он написал: *"У нас, ленинградцев, накопился такой опыт, что на всю жизнь хватит"* (III, 553). Шварц *"помнил всё"* и хотел оставить *"нечто вроде памятника тем, о которых не вспомнят"* – управдомам, обывателям, *"простым"*

¹⁵⁷ Морозов Александр Антонович (1906-1992) – литературовед, автор книги о Ломоносове, за к-рую получил Сталинскую премию (1952), эвакуирован из Ленинграда осенью 1942 г.

людям – он сразу после приезда начал писать пьесу "Одна ночь". Она не была точным изображением пережитого – *"вся непередаваемая бессмыслица и оскорбительная будничность ленинградской блокады исчезли"*, героев автор *"перевел в более высокий смысловый ряд"*, но считал "Одну ночь" *"своей лучшей пьесой"* (26.4.1957 – III, 123).

После отъезда Шварца история его квартиры в блокадном городе продолжилась: там поселились Заболоцкие (Екатерина Васильевна и дети, Никита и Наташа), а за два дня до их отъезда, 6 февраля 1942 г., в столовую попал снаряд *"под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку"*, но *"смерть промахнулась чуть-чуть"*, и все остались живы (18.9.1955 – III, 144). Предчувствие, посетившее Е.Л. при переезде в дом, сбылось (1.12.1956 – II, 191-192). Рассказ об эвакуации Заболоцких прерывается репликой, отчасти объясняющей сдержанность Шварца в описании блокады: *"В то время Ленинград и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали"* (III, 144).

Город не уходил из памяти: *"глазам, еще не отвыкшим от страшной тьмы ленинградской"* (явная аллюзия на "тьму египетскую") вечерняя темнота Кирова казалась светлой – свет в окнах, фары машин; обрадовали увиденные около города Горького вагоны поезда "Красная стрела" – *"как будто знакомых встретили в эвакуации"* (2.11.1954 – III, 164); в 1942 писалась пьеса "Далекий край" об эвакуированных ленинградских детях...

Описанный Шварцем через 16 лет после событий блокадный Ленинград страшен *"серостью и будничностью"* (11.6.1955 – ТК, 147), которую автор понял, наверное, еще в 1941-м. Он пишет с трудом, понимая, что объяснить блокаду невозможно, вспоминает детали, но уходит от них к обобщениям: *"Я сказал как-то <...> что главная подлость в том, что если мы выживем, то будем рассказывать о том, что пережили, так, будто это интересно. А на самом деле то, что мы переживаем, – прежде всего неслыханные, неистовые будни"* (23.3.1957 – III, 93). Писатель не хочет быть "интересным", но будни ускользают от описания (*"серость и тьма"* (ТК, 147)), а ощущения трудно восстановимы. Кроме того, чувства "блокадного человека" были, видимо, так же заморожены, как и квартиры, и Шварц признается: *"...боюсь, что ангел-хранитель отнимал у нас то одно, то другое чувство, чтобы мы прожили положенное нам время"* (18.3.1957 – III, 88).

Ленинград июня-декабря 1941 описан одновременно и реалистично, и апокалиптически, что сравнимо с восприятием Шварцем 1937 года.

Ленинград послевоенный.1945-1958 годы

Осенью 1944 г. Шварц приезжал в Ленинград, и его потряс мертвый лес (*"расщепленные стволы без крон"*), полностью разрушенная станция Любань, воронки и дзоты вдоль железной дороги (9-10.1.1956 – ТК, 314).

Окончательно вернулся он в *"опустевший и словно смущенный"* город в июле 1945 г. с ощущением *"конца тяжелейшего времени, победы, возвращения домой"* (11.7.1955 – III, 205). Теперь, после блокады и эвакуационных скитаний, Ленинград, несомненно, был домом. 17 июля Шварцы въехали в свою отремонтированную после прямого попадания снаряда квартиру в писательском доме. И 23 июля Е.Л. писал в дневнике, сидя *"за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле"*, и подводил итог четырех лет, заключающийся в возвращении к прежнему: *"Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена..."* Это счастливый итог, ведь близкие живы, дом стоит, *"так же окрашены стены"*, *"и даже кота мы привезли"* (23.7.1945 – III, 202-203), но интонация печальна.

Начиная с 1945 г. мы располагаем непосредственными дневниковыми записями Шварца. 25 июля Е.Л. подробно описывает, как сел на 20-й номер трамвая *"у конечного <...> пункта"*, как кондуктор скомандовал: *"Граждане, вылезайте..."* – все эти детали, наверное, радуют своей нормальностью после страшных будней блокады. Писатель испытывает радость, увидев на *"повороте к Михайловскому замку"* любимую *"конную статую"*

*растреллиевского Петра*¹⁵⁸, которую вырыли из земли, *"и она лежит на боку"* и ждет, *"чтобы вернуться на место..."*, и вспоминает, как *"в страшные дни 41 года"* он, *"глядя на пустой постамент, говорил себе, что Петр на фронте"*. С радостью встречает Льва Левина¹⁵⁹ и Юрия Германа и записывает, что им тоже *"странно после четырех лет войны опять шагать вместе по набережной"* (III, 203). 11 августа фиксирует *"радостное удивление"* от красоты Михайловского сада и Мойки, несмотря на *"не то серую фанеру, не то кровельное железо"* (III, 203) в окнах квартиры Пушкина. Счастье возвращения и узнавания.

Из другой временной перспективы, из 1955-56 гг., атмосфера послевоенного Ленинграда видится иначе – страшнее и беспощаднее: в соседнем доме *"уцелело только семейство в четвертом этаже"*, *"все окна напротив казались ослепшими: вместо стекол – фанера"*, *"забитые витрины магазинов"*, мертвенность и безлюдье, когда в июле 1945 в 9 вечера (в Ленинграде в это время еще светло) на пути по Фонтанке мимо Гостиного двора к каналу Грибоедова не встретилось ни одного человека, *"словно шли по мертвому городу"* (3.3.1955 – III, 198-199). Который, тем не менее, воспринимается одушевленным существом, определения – *"подурневший, оглушенный, полуослепший"* (III, 198) – вполне *"человеческие"*, а город был *"глухонемым от контузии и полуслепым от фанер"* (11.7.1955 – III, 206), *"словно больной"* человек: *"Так плешивеют после брюшного тифа"*. Преследовало *"смутное ощущение"*, что город *"еще и отравлен. Чем? Трупам, что недавно валялись на улицах, на площадках лестниц? Горем? Во всяком случае приезжие заболевали тут фурункулезом какой-то особо затяжной формы"* (себя Шварц к приезжим не относит). И все же *"лето, Нева, белые ночи – не пострадали"* (III, 198-199).

На душе писателя смутно и из-за тяжелого настроения жены, хотевшей остаться в родной ей Москве, и *"город <...> глядел так, будто нас не узнает"* (III, 206), но работа над *"Золушкой"* принесла чувство свободы, вдохновения – *"что-то случилось со мной, когда вернулись мы в Ленинград. Словно проснулся"* (13.7.1955 – III, 207).

¹⁵⁸ Бронзовый конный памятник Петру I перед Михайловским (Инженерным) замком в Петербурге работы итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Отлит в бронзе в 1747 г., возведен на пьедестал в 1800 г., во время блокады Ленинграда статуя Петра была снята и спрятана, в 1945 г. возвращена на место.

¹⁵⁹ Левин Лев Ильич (1911-1998) – лит. критик, поэт, драматург. Автор воспоминаний о Шварце, книги "Дни нашей жизни: Книга о Ю. Германе и его друзьях" и др.

Из новых адресов добавилась квартира режиссера Н.Н. Кошеверовой (снимавшей "Золушку") в темно-сером *"доме новой стройки на углу Кировского и Песочной"*¹⁶⁰ *"с длинными балконами и широчайшими окнами"* – *"Корбюзье, не Корбюзье"*. Архитектора дома, Е.А.Левинсона¹⁶¹, жившего здесь же, дразнили неудачной постройкой, которая *"то промокала, то протекала"*, а лестница была *"крута и неудобна"*. (Сейчас на доме установлена мемориальная доска Е. А. Левинсону).

Особенностью лета 1945 г. были трудности с трамваями, в которые *"одинаково трудно было сесть <...> и вылезти"*, т.к. *"вагонов не хватало даже для опустевшего города"* (III, 206), но для Шварца всё заслоняло вдохновенное настроение.

"Существенной чертой" ленинградской жизни 1945-47 гг., описанной в дневниках, являлись трофейные вещи в магазинах и трофейные машины на улицах (*"разнообразие марок удивительное"*), а также продуктовые карточки, которые надо было получать в учреждении, *"занимающем барскую квартиру на Адмиралтейской набережной"*, и отovarивать в лимитном магазине на ул. Бродского, *"напоминающем клуб"*, но при этом *"таинственном, окруженном слухами и подозрениями"* (21.3.1956 – III, 199-200). Шварц и через 10 лет помнит расположение его отделов и преобладание мужчин среди покупателей, хотя *"легко"* и *"как бы радостно"* люди после 1947 г. выбросили из памяти карточки и распределители – *"целую полосу послевоенной жизни"*. После этого магазин стал продавать подписные издания, и очереди за ними, здесь и в Доме книги, как черта послевоенного Ленинграда очень нравятся Шварцу, так же как *"ночные утешительные очереди в Филармонию"* (24.3.1956 – III, 202).

В дневниках 1947 г. отмечены приметы возвращения жизни в "больной" после блокады город: *"Зимний дворец со стороны набережной – в лесах"* (21.9.1947 – IV, 19), антикварный магазин на ул. Герцена *"опять стал таким, как до войны, – элегантным и чуть пугающим"* (21.8.1947 – IV,11), *"улица Восстания вся сплошь ремонтируется"*, *"похорошевшая Михайловская площадь"* – всё у Шварца *"вызывает <...> недоумение, но восторженное"* из-за того, что *"потерянное"* не *"потеряно навеки"* (31.8.1947 – IV, 13-14). К писателю вернулось чувство города, он отмечает свое *"жадное внимание к воде, к домам, к асфальту"*, новые

¹⁶⁰ Дом № 55 по Каменноостровскому (Кировскому) пр., построен в 1930-32 гг. по проекту Е. А. Левинсона и А. М. Соколова для совторгслужащих.

¹⁶¹ Левинсон Евгений Адольфович (1894-1968) – известный архитектор, конструктивист. Важнейшие постройки: жилой дом Ленсовета, Дом легкой промышленности, Дворец культуры им. Ленсовета, вокзалы в Пушкине (Гос. премия) и Павловске. В доме по Каменноостровскому, 55, Левинсон жил в 1931-68 гг.

ощущения среди деревьев Летнего сада, дорогу по набережным с *"ощущением себя частью какой-то стройной конструкции"* (12.9.1947 – IV, 16). Каждый день он описывает погоду, называет точные адреса и маршруты и продолжает осмысливать город: *"...именно на Васильевском острове особенно ощущаешь, что Ленинград – город приморский"*. Но и война не уходит из памяти: когда писатель смотрит на вновь окрашенные дома Второй линии, ему кажется, *"что-то печальное есть в этом зрелище <...> Войной, что ли, потянуло?"* (23. 9.1947 – IV, 21), а в 1953-м замечает, что женщина в булочной отказывается от хлебного довеска – и вспоминает блокаду (3.5.1953 – IV, 90-91).

Городские приметы постоянно присутствуют в дневниках. В июле 1950 г. Шварц пишет стихи о рухнувшей двухсотлетней липе в Михайловском саду (IV, 30-31), в конце апреля 1951 г. записывает, что *"праздничный Ленинград" "возбуждает"* (IV, 45-46), белой июньской ночью 1952 г. размышляет о Медном всаднике, символе города, впитавшем множество смыслов¹⁶²: *"Мне чуждо прошлое статуи. Мне понятно, что она живет сегодня. Не смыслом своим, а самим фактом своего существования. Всадник на коне с вечно знакомым движением"*. И т.к. литература в Ленинграде присутствует в реальной жизни, Шварц принимает *"тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой"* в качестве бывшего события: *"... вблизи конь глядел немилостиво, строже всадника, и мне показалось, что он страшнее Петра, когда они скакали по улицам"* (25.6.1952 – IV, 82-83). Взгляд писателя часто обращается к пушкинским местам – в 1945 году к окнам последней квартиры, в 1952 – к Медному Всаднику и на *"бывшую лавку Смирдина"* (IV, 83).

В дневниках Е.Л. много раз описывает Невский проспект (что естественно – это главная улица города, реального и литературного, да и живет он рядом), фиксируя окраску домов, одежду и поведение толпы, мелкие исчезающие приметы времени. 9 октября 1950 г. это *"сцена с натуры"* в разное время дня: проспект *"многолюднее, чем до войны <...> толпа движется сплошным потоком <...> Весь Невский покрашен заново в светлые тона <...> Улица кажется приодетой, но основная толпа сурова, одета в темное или темно-серое"* (IV, 31). 3 мая 1953 г. Шварц, записывая, делает как бы моментальные снимки продавщиц с красными от жары щеками за витринами магазинов, *"черного и плотного"* дыма из трубы над крышами на улице Желябова (Большой Конюшенной), прохожих – *"предпразднично озабоченной,*

¹⁶² См.: *Осват А. Л., Тименчик Р.Д.* «Печальную повесть сохранить...» Об авторе и читателях «Медного всадника». – М., 1985.

особой толпы 1953 года" (IV, 90-91). Всё это интересует писателя – он заглядывает "во все витрины по пути" (IV, 90) и пытается остановить мгновение описанием "толпы тридцатого апреля", потому что "больше такой не будет", когда "жарко по-летнему, дым, многие без пальто, пьяных мало" (IV, 91).

30 июля – 4 августа 1954 г. создается художественное "полотно" – Невский в "летней мгле" (IV, 137). Преобладают подробности: детально описываются "сильно ржавые конструкции" лесов и заборчики при них; новая каменная облицовка канала Грибоедова; банк,¹⁶³ покрашенный в "съедобный цвет" "глуховато-розово-лиловатый" – "мусс бывает такого цвета"; немолодые липы, высаженные у Гостиного Двора, "кажутся взгляду" стоящими "тут давным-давно". Меняющимся городским приметам отведено больше места в записях, чем постоянным – те названы только по именам: Спас-на-Крови, Казанский собор, магазин Елисеева, – тогда как временному мостику на канале Грибоедова посвящено несколько определений для точности: "деревенский наивный дощатый мостик с надписью: "Переход воспрещен" (IV, 136). Названы все цветы того лета – "низкорослые кусты роз", лилии и бегонии в Михайловском скверике; срезанные лилии, левкой и гвоздики, которыми торгуют "на углах".

Описание создается под знаком чтения писем художника Чистякова¹⁶⁴ – "Чистяков учит: "Пишешь ухо, гляди на глаз". Цветы существуют рядом со ржавыми конструкциями". Контраст развит в следующей записи, в которой Шварц жалеет, что "картина" воспринимается "нераздельно, а рассказывать приходится по очереди. И когда очередь доходит до цветов, то кажется, что ржавые конструкции <...> исчезли. Нет. Цветы цветами, а леса лесами. Только цветов меньше".

Но картина не закончена, еще несколько "мазков": "уличная толпа, гораздо светлее обычного. И разноцветней", у женщин появились босоножки ("большой палец выглядывает из окошечка"), у мужчин – соломенные шляпы, "грубоватые, все с черной лентой". А потом автор, оторвавшись от примет земли, видит, что "летят, летят облака", и "какой-то дымкой"

¹⁶³ Здание бывш. Общества взаимного кредита по наб. кан. Грибоедова, 13, построено в 1888-90 гг. по проекту арх. П. Сюзора.

¹⁶⁴ Чистяков Павел Петрович (1832-1919) – русский художник и педагог, мастер исторической, жанровой и портретной живописи. Учениками Чистякова были В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. Врубель, В. Д. Поленов, Ю. М. Пэн, И. Е. Репин, В. А. Серов, В. И. Суриков и др. Книга, которую читал Е.Л. Шварц: Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919. – М.: Искусство, 1953.

"соединены, объединены мы все и все вокруг нас на улице" (IV, 137). Писатель приметлив – отмечает состав *"дыма городского"*: *"здесь и бензиновый перегар, и дым из заводских труб"*, – сильный свет солнца *"в чуть заметной мгле"*, черные тени на асфальте, *"зелень деревьев летом 54-го года"*, более пышную, чем год и два назад (IV, 138).

Шварц делает и социологические замечания: больше театров приехало на гастроли, люди *"много покупают"*, в субботу в магазинах очереди, такси на стоянках не хватает, *"толпа не стала дружнее или веселей"*, но научилась не замечать тесноты, *"близости соседа"*, как полагает Шварц, из-за *"войны, эвакуации и коммунальных квартир"* (IV, 138-139).

В толпе *"единицы <...> не замечают друг друга"*, но в дневнике эти *"единицы"* существуют самостоятельно за *"старинными, петербургского разреза окнами, просторными, длинными, с закруглением наверху"* (IV, 139). В записях возникают наброски соседей из дома напротив, знакомых только внешне: *"мальчика лет шестнадцати"*, который когда играет на баяне, *"садится на подоконник"*, что кажется Шварцу *"желанием поделиться"* музыкальной радостью; семьи из четырех женщин; двух милиционеров-лейтенантов, *"кубастенькой женщины"* с вечной завивкой, *"предающейся всем сложностям личной жизни"* (IV, 139-140). Соседей и обстановку их комнат можно рассмотреть из-за открытых по-летнему окон, и все они присутствуют на портрете Ленинграда лета 1954 года.

Визуальные впечатления дополняются слуховыми – только летом в сдержанном по-северному Ленинграде слышен *"шум человеческой <...> жизни"*, который радует, *"как радует шум прибоя"*. *"Все шумы знакомы"*: смех, плач и крики детей – *"это, пожалуй, основной шум часов до десяти вечера"*, сигналы машин, обрывки разговоров, баян или патефон *"вопит на весь двор"* (IV, 139-140), *"равномерные удары молотка по железу"* – *"тоже звук почти непрекращающийся"* (IV, 141). Заставляет вздрогнуть (не напоминанием ли о войне?) только *"тоскливый, и патетический, и бессмысленный вой сирены"*, хотя это всего лишь *"кричат парходики на Неве"* (IV, 139).

Написав 30 июля: *"Я люблю Ленинград летом"* (IV, 136), Шварц несколько раз пытается определить летний город, каждый раз добавляя новое в перечисление. В записи 31 июля признаков два: *"Итак: дома в железных ржавых лесах, в скверах <...> – клумбы цветов"*, затем прибавляется восприятие толпы и знаки присутствия театров-гастролеров: *"Железные леса на домах, цветы, заметно посветлевшая толпа, афиши и портреты в магазинных витринах"* (IV, 137). 3 августа определение еще расширилось: *"Здания в ржавых железных конструкциях,*

посветлевшая толпа, тесная, но недружная, широкие ленинградские улицы, солнце и дымка, пышная, этим летом особенно пышная листва, открытые окна". А 4 августа, пожаловавшись на потерю "свободы речи", писатель определил ленинградское лето 1954 года *"коротко: то грозы, то солнце"* и добавил в том же стиле, что *"в магазинах то пусто, то очереди исчезают, и внезапно появляются сыр, колбаса, мясо"* (IV, 141).

Затем перо пишущего возвращается к Невскому, напомним, что это не картина летнего Ленинграда, а портрет "во весь рост" главного его проспекта. Поведение толпы изменяется по времени дня: *"Днем Невский удивляет, особенно в хорошую погоду, огромным количеством служащих, не спешадвигающихся под солнцем"*, после 5 часов вечера *"хвосты выстраиваются у остановок"*, служащие *"вливаются потоком в магазинные двери"* (Шварц замечает, что они *"сердиты", "утомлены, может, и обижены"*), затем улица пустеет (IV, 141).

Людское скопище на Невском привлекает взгляд писателя, он наблюдает за ним, отмечает *"вечную толпу" "на ступеньках античного портика между Гостиным и Думой"*; множество людей *"у окна, где показывает диапозитивы Центральная театральная касса"*, обходя их *"приходится <...> сходить с широчайшей панели на мостовую"*. Замечены и тона одежды: *"Толпа светлей, веселее, пестрее, чем прежде, – материалы цветные на женских платьях, светло-серые, бежевые, белые мужские костюмы"* (IV, 141-142), *"цветы ситцевых тканей, полосы тканей штапельных"* (IV, 137).

Вывод же из наблюдений следует необычный, даже сказочный: *"Недаром раскупаются цветы, недаром толпятся у цветных диапозитивов – душа хочет игры"*. А *"когда судьба послала" "такую игрушку, как шведские корабли на Неве и шведские моряки на Невском"*¹⁶⁵ *"как толпа заиграла!"* – с воодушевлением восклицает Шварц, записывая, что моряков *"окружили как чудо, веселя"*. И рассказывает услышанную историю, *"которую повторял весь город"*, как будто явившуюся из его сказки "Тень" (где принцесса живет неузнанной среди подданных): *"На флагманском корабле прибыла тайно шведская королева. Ей восемнадцать лет <...> она в мантии и в короне ездила с визитом в горисполком"* (IV, 142). На самом деле визит нанес командующий береговым флотом Швеции контр-адмирал Эрик аф Клинт, а королеве Луизе¹⁶⁶, остававшейся в Стокгольме, было уже за 60, но писателю так же

¹⁶⁵ Визит шведской эскадры, в составе легкого крейсера "Тре Крунур" и 4 эсминцев, в Ленинград состоялся в июле 1954 г.

¹⁶⁶ Луиза Маунтбеттен (1889 - 1965) – королева Швеции (1950-1965), вторая жена короля Густава VI Адольфа.

хочется сказки, как и его читателям, и он ничего не опровергает, даже ставя в один ряд королеву – обязательно в мантии и короне! – и такое официальное место, лишённое намека на чудо, как горисполком: *"Душа просит игрушек, новенького, даже сказки"*. Заключает Шварц свой анализ летней ленинградской толпы тем, что она *"спокойнее, чем год-два назад"*, *"благодарнее, чем в прошлом году. И, пожалуй, богаче"* (IV, 141-142).

Думаю, что в деталях описанное лето 1954 г. так необычно ярко и привлекательно для писателя потому, что люди и город постепенно оттаивают после смерти Сталина. Недаром Шварц постоянно употребляет сравнения, повторяет *"прошлый и позапрошлый год"* (IV, 138), *"год-два назад"* (IV, 141), *"чем прежде"*, *"чем в прошлом году"* (IV, 142), ведь прошлое лето 1953 г., наступившее слишком скоро после смерти тирана, было омрачено "бериевской" амнистией (*"Холодное лето 53-го"*, по названию фильма). Шварц, рассказав о 750 тысячах билетов *"в сторону Сестрорецка – Зеленогорска"* (пригородов Ленинграда), проданных *"в одно из воскресений июня"*, и о *"трех тысячах ящиков пива"*, выпитых за одно воскресенье в Зеленогорске – *"Вот как гуляют этим летом!"* – заключает: *"Лето 1954 года много более похоже на лето, чем в прошлом и позапрошлом году"* (IV, 141).

Иногда знакомые городские маршруты дарили ему открытие – в апреле 1954 г. из окна троллейбуса на Литейном мосту вдруг обнаружился *"под набережной" "подбитый сваями треугольник земли"*, на которой *"домик выстроен <...> растут деревья"*, и Е.Л. ругает себя за невнимательность. Но узнает Неву *"с тем же выражением"*, что и *"при первой встрече"*, в 1914-м, когда, увидев ее, *"не почувствовал себя чужим"* в городе (7.4.1954 – IV, 120-121).

Если у Невы сохраняется то же выражение, то город постоянно меняется: трудно подойти к Кузнечному рынку, около которого строят метро, *"необыкновенно изменился"* двор писательского дома – разобраны *"слеplенные из обломков досок сараи"* и посажены *"жиденькие, но старательные деревья"*, которые *"даже шелестят, как могут"* (1.8.1954 – IV, 139); *"мост в конце Кировского проспекта (по-видимому, Каменноостровский) до сих пор перестраивается <...> В таком же положении тот мост, что соединяет Каменный остров с Новой Деревней (кажется, Строгановский)"¹⁶⁷* (21.9.1954 – IV, 157).

¹⁶⁷ Каменноостровский мост через Малую Невку соединяет Аптекарский и Каменный острова в створе Каменноостровского пр. В 1953-54 гг. был сооружен новый 5-пролетный металлический мост, одновременно и по одному проекту с Ушаковским (в 1836-1952 гг. Строгановский мост, ранее – 2-й Каменноостровский мост, через Большую Невку). 17 окт. 1954 г. Каменноостровский мост был открыт для движения.

Шварц живет в центре, и любые перемещения фиксирует подробно, присматриваясь к огромному организму города. 11-12 сентября 1954 г. он описывает поездку на машине в дачное место Комарово через Сампсониевский мост и Выборгскую сторону. Отмечены "корпус Госпитальной хирургии" Военно-медицинской академии, где в 1940 г. умер отец Шварца (*"Деревья вокруг Академии огромные, вероятно, с основания ее живут"*); загородки с арбузами на Выборгской стороне (*"Их множество, и все же у всех загоронок – очереди. Рубль кило! Нет, никогда не было в городе столько арбузов, словно на юге"*); "горы песка возле самой воды" "на Невке против Ботанического сада". Остальное сливается в неразличимости "заводиков за кирпичными заборами", в "украинной путанице домов". Шварц пытается уловить черту, где город заканчивается, перестает быть таковым, но граница обманчива: *"Стоит старинный дом с колоннами, стоит без соседей. Двухэтажный. Городской, а напротив – пустыри. И снова поворот. И снова городские улицы"*; потом мелькают *"острова с пышной зеленью и чахлыми фанерными конструкциями"*, *"старинная чудом уцелевшая, ныне охраняемая дача, деревянная, с бельведером, с двумя крылами, колоннами"*, буддийский храм. Признаками окраин выступают высокие заборы (*"Они не кажутся унылыми – выкрашены в светло-серый цвет"*), старые деревья, *"железная конструкция"* переброшенная через шоссе, наконец, дорожный знак черты города – *"и через две-три минуты город и в самом деле обрывается"* (21-22.9.1954 – IV, 157-158).

Поездка описана как путешествие в неизвестные места, хотя названные районы – такие же части Ленинграда 1950-х гг., как и центр, но Шварц не уверен даже в названиях мостов.

Отражено в дневнике за 15-16 октября 1954 г. и такое типично ленинградское событие, как наводнение¹⁶⁸, на которое высypал посмотреть весь город: *"Все двигаются в одном направлении. Фонари то гаснут, то вспыхивают. И каждый раз в темноте мальчишки поднимают разбойничий свист. Празднично выглядят семьи: все вышли, и старшие, и дети. Громкие разговоры. Смех"*. Наблюдательный автор, описывающий как будто кадры фильма, замечает не только *"зачарованных"* зрителей, *"черную и серебряную"* Неву, но и озабоченных хозяек с авоськами, очереди у булочных, грузовики с солдатами. Главное же событие – "чудо", которое *"стараются освоить"*, что *"морские волны бьют о берег"* (15.10.1954 – IV, 172).

¹⁶⁸ Наводнение 14 окт. 1954 г.: подъем воды на 222 см выше ординара, по степени опасности – очень опасное.

В 1955 г. Шварцы переехали на новую квартиру на Петроградской стороне,¹⁶⁹ в том же доме жил Л. Пантелеев, а через дом от них – Г. М. Козинцев, и совсем недалеко располагался "Ленфильм". Старой квартиры Шварц не жалел, а новый район считал *"сумрачнее центра"*, в основном, из-за *"свириных дворничих"*, *"вечно пьяных"* почтальонш и *"сердитых контролерш в сберкассе"*, Кировский (Каменноостровский) же проспект, с его точки зрения, *"сохранил уверенность в своем растущем значении. Это выражение создано еще до революции, когда строились удобные, с затеями дома стиля модерн"* (17.10.1956 – IV, 212).

Прогулки по городу теперь не так часты по состоянию здоровья и потому, что Шварц много времени проводит на даче в Комарово, которую очень любит его жена, Екатерина Ивановна. Обычный маршрут прогулки по Ленинграду описан 25 марта 1956: *"Сейчас гулял с Козинцевым, как всегда до Кировского моста и налево, до китайских львов"*, – и снова предпринята попытка описать *"ленинградцев 56 года"*, объяснить, *"в чем их особенность"*. Из особенностей отмечены одежда (*"Да, конечно, стали они разноцветнее. Обувь разнообразнее. Много ботишков на молнии и резиновой подошве, замшевых. Много чешских туфель. Лучшие одеты ребята"*), спокойствие и расслабленность прогулки в выходной день и, конечно, не забыта погода: *"Снег свален в Неву и высится горой <...> Опершись на гранитный парапет, люди не то глазеют на Неву, не то греются <...> Навстречу – сплошная толпа гуляющих, все больше с детьми и словно ошеломленные солнцем"* (IV, 208).

* * *

Ленинград первых послевоенных лет для Шварца трагичен, и хотя в непосредственных дневниковых записях это выдает только интонация, но в воспоминаниях 1950-х гг. трагизм жизни *"оглушенного"*, *"больного"*, *"полуослепшего"* города выходит на первый план. "Оттаивает" город по-настоящему только летом 1954 г., недаром так подробно запечатленным в дневнике. В 1950-е гг. Ленинград, описанный Шварцем, оживает, строится, меняется, ходит в театры, любит цветы, отдыхает. Одежда его жителей и его домов светлеет и становится разнообразней, город даже начинает сочинять сказки о королевах.

¹⁶⁹ Малая Посадская ул., д. 8, кв. 3. На доме установлена мемориальная доска Е. Л. Шварцу.

В дневниках Шварца отразился и миф города в рассуждениях о Медном всаднике, и в той же записи 1952 г. – о людях: *"Они, люди, которых я вечно вспоминаю в связи с Ленинградом, не кажутся мне умершими. Они при самом легком напряжении внимания представляются мне живыми. Продолжающими жить, но не потому, что входят в мою жизнь, а сами по себе"* (26.6.1952 – IV, 83).

Чем стал Ленинград для Шварца? Наверное, судьбой. Случайность прибытия с Ростовским театриком в Петроград превратила актера в писателя: *"Я начал просыпаться <... > на потемневших, словно опаленных ленинградских улицах двадцать первого года"* (30.12.1954 – IV, 189). Он не вернулся на юг, не покинул опальный город ни в 1934, ни в 1937-38 гг., когда были арестованы друзья, а в Москву переехали С. Маршак, К. Чуковский, Н. Федин и многие другие. Шварц был отмечен блокадой, вернулся после эвакуации, и, хотя записал 11 июля 1955 г.: *"Остались мы, до сих пор не знаю, к добру или худу, в Ленинграде"* (ТК, 176), – разделил судьбу города, став ленинградцем и ленинградским писателем.

Портреты ленинградских писателей в "Телефонной книжке"

В «Дневниках» огромное количество портретов (в которых скрывается тенью автопортрет автора), разумеется, коллеги по цеху преобладают. Многие из этих портретов движутся во времени, изменяются. В следующем тексте я обращаюсь только к тем из них, которые отображены Шварцем в им же придуманной форме описания – «Телефонной книжке»: *"взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказывать"* (ТК, 7)¹⁷⁰. Записи велись с 19 января 1955 по 11 октября 1956 г. и при издании составили целый том (551 страницы), появившийся в печати в 1997 г. с тщательными комментариями К.Н. Кириленко. В мемуарах два раздела – ленинградская и московская телефонные книжки.

Трудно сказать, предназначалась ли "Телефонная книжка" автором для печати. Откровенность некоторых суждений о здравствующих коллегах не вполне подходит для

¹⁷⁰ Далее цитаты из "Телефонной книжки" обозначаются только номером страницы в круглых скобках.

немедленного обнародования, но многие записи выглядят вполне обработанными и законченными с литературной точки зрения. Возможно, Шварц до конца не решил этот вопрос, оставлю его открытым и я.

Что же выделяет Шварц в портретах своих коллег по литературному цеху или по членству в Союзе писателей (а он эту разницу подчеркивал)?

Обычно портрет начинается с описания внешности. Например, о Виталии Бианки сказано: *"здоров, красив"*, хотя первое впечатление было не столь благожелательно: *"маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах"* (52), Михаил Эммануилович Козаков¹⁷¹ – *"маленький, красивый, черненький"* (188). О Вере Пановой – довольно подробно: *"Рост небольшой. Лицо неопределенного выражения. Чуть выдвинутый вперед подбородок. Волосы огорчают – она красит их в красный цвет, что придает ей вид осенний, а вместе искусственный"* (366). Внешность А. Г. Голубевой¹⁷² ужасна: *"Волосы, как пакля, выцветшие не то от перекиси, не то от внутренних ядов <...> мятое личико и глаза мопса. Недовольные и озабоченные"* (77).

На внешности Никодима Васильевича Гиппиуса¹⁷³ – *"длинный, белокожий, длиннолицый"* (94), с *"вялым профилем"*, *"сделанным утомленной рукой"* (95) – лежит отблеск воспоминаний о дальней родственнице его, Зинаиде Гиппиус, которую описала Шварцу тетя Ираклия Андроникова, Любовь Яковлевна Гуревич: *"Больше всего говорила она о золотых волосах ее. И династический отблеск этого золота угадывался <...> и в длинных прямых волосах Димы"*. Весь портрет Н.В. Гиппиуса построен Шварцем на восприятии его как *"последнего в роде"*, *"который только что был влиятельным в литературе"* (94): *"Династическая одаренность сохранилась в нем, но золото его головы не собиралось ли перейти в рыжий цвет?"*(95).

Часто эти внешние черты в портретах Шварца уже оценочны, определяют не только внешность, но и личность, а иногда заключают в себе сравнение с неким образом. Скажем, драматурги-соавторы А. В. Разумовский и И.В. Бахтерев¹⁷⁴ описываются чрезвычайно

¹⁷¹ Козаков Михаил Эммануилович (1897-1954) – писатель, автор романа "Девять точек" (кн. 1-4, 1929-37; под назв. "Крушение империи" опублик. в 1956), отец известного артиста М. М. Козакова.

¹⁷² Голубева Антонина Георгиевна (1899-1989) – детская писательница, автор книг о детстве и юности С. М. Кирова "Мальчик из Уржума" и др.

¹⁷³ Гиппиус Никодим Васильевич (1918 - 1996) — советский актер, драматург, очеркист и сценарист. В 1936-41 гг. учился на актерском отделении Ленингр. Театрального института, прошел всю войну, с 1950 г. начал писать сценарии (в основном, документальных и научно-популярных фильмов), а также очерки и пьесы.

¹⁷⁴ Разумовский Александр Владимирович (1907-1980) - советский писатель, драматург. Автор сценариев около 60 научно-популярных, документ. и учебных фильмов. Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1951), в молодости был

похоже на Бобчинского и Добчинского: *"Разумовский роста несколько выше среднего. Бахтерев же поменьше"* (402). Писатель П. Т. Журба¹⁷⁵ автор книги об Александре Матросове, *"похож на сельского учителя"* (151), в А. Г. Голубевой есть *"что-то от Медузы-Горгоны"* (77), а Е. А. Боронина¹⁷⁶ – *"умышленно прямая, похожая на бестужевку"* (34).

Есть у Шварца и портреты, в которых внешний образ становится определяющим. Например, Ефим Добин,¹⁷⁷ *"мягкий, кругленький, маленький <...> Фигурой и судьбой похож на Ваньку-встаньку. Сколько его валили! Во время одного из зловещих собраний в Доме писателей в 37 году после того, как излупили его так, что и великану не выдержать, кто-то вышел в фойе и увидел: лежит маленький наш Ефим посреди огромного зала на полу, неподвижно. Потерял сознание. Но и после этого нокаута он очнулся, реабилитировался. Выйдешь на улицу, а впереди покачивается на ходу наш ванька-встанька. <...> Отвечает на шутку Ефим с достоинством. Всегда упруго. Посмеются – глядь, а он, пошатавшись, стоит на ногах"* (136-137).

Особенности всем известной игрушки позволяют ясно представить характер героя описания. Другой портрет – корреспондента "Литературной газеты" в Ленинграде Юлия Реста¹⁷⁸ – основан на сравнении со сказочным Колобком, и внешность писателя, так же, как и в предыдущем портрете, только повод для сравнения. Он *"круглый, как тот колобок, что от бабушки ушел и от дедушки ушел. И спасся от многих других, желающих его съесть <...>*

близок к обэриутам. Игорь Владимирович Бахтерев (1908-1996) – писатель, поэт, драматург, в 1920-е гг. член ОБЭРИУ, арестовывался в 1931-31 гг. по тому же делу, что Д. Хармс, А. Введенский, А. Туфанов. Вместе Разумовским и Бахтеревым была написана пьеса *«Полководец Суворов»* (1938), которую высоко оценил Сталин. Позже они в соавторстве написали пьесы *«Русский генерал»* (1944), *«Двойная игра»* (1951), *«Откровение в бурю»* (1962), *«Ровно в полночь»* (1946) и др.

¹⁷⁵ Журба Павел Терентьевич (наст. имя и фам. Пантелеймон Терентьевич Скрипников) (1895-1976) - писатель, в 1950-е гг. председатель детской секции Лен. отд. Союза писателей.

¹⁷⁶ Боронина Екатерина Алексеевна (1907-1955) – детская писательница, печаталась в журналах "Чиж", "Еж", "Костер", автор пьес для ТЮЗа. В 1926-1928 гг. была выслана ОГПУ в Среднюю Азию, в 1950 г. арестована, приговорена к 10 годам лагерей, освобождена в 1954 г.

¹⁷⁷ Добин Ефим Семенович (1901-1977) – советский публицист, литературовед, искусствовед и критик. Сын Шимона-Шимойни Добины, педагога и общественного деятеля, писавшего на идиш. Член КПСС с 1919 г. Начал печататься с 1920-х гг., сначала в еврейской прессе на Украине, с 1923 г. в Москве, основатель и первый редактор журнала «Знание — сила». С 1929 г. зам. главн. редактора журнала «Литературная учеба», куда его пригласил М. Горький. В 1935-1937 гг. – отв. редактор газеты «Литературный Ленинград». В годы войны – военный корреспондент, затем старший редактор киностудии «Ленфильм», старший научн. сотрудник Ленингр. гос. института театра, музыки и кинематографии.

¹⁷⁸ Б. Рест (Юлий Исаакович Рест-Шаро (1907-1984) – журналист, драматург, сценарист, автор и организатор театра при Доме писателя, в 1950-е гг. – зав. лит. частью Театра Комедии. Написал несколько пьес в соавторстве с Ю. Германом ("Далеко на севере", "Один год"), в соавторстве с С.П. Варшавским книги об Эрмитаже ("Подвиг Эрмитажа" и др.)

вы почти уверены, что данная разновидность колобка уйдет от всех без исключения. Жизнь современного колобка полна таких превратностей, что лучше и не задумываться о них. Не исключена возможность, что в превратностях невообразимого пути мог он сам съесть тех, кто собирался произвести с ним подобную операцию" (386).

И здесь уже не столько характерные черты человека, сколько времени, когда охотятся не за сказочными Колобками, а за реальными людьми. В портретах Шварца время является не фоном, а проявителем характера человека.

О писателе Петре Иосифовиче Капице¹⁷⁹ сказано: *"Он менялся, когда менялось время, но в необходимых пределах, сохраняя честь" (261).* Послевоенное время в рассказе о М. Э. Козакове возникает "запекшимся", как кровь на ране: *"Для меня это время как бы запеклось. Ряд послевоенных лет сплавился в одно целое. Не могу рассказывать об этом времени, всё, как в тумане или в болотной тине" (196).*

О Вере Кетлинской Шварц пишет много, отдавая должное её поведению во время блокады Ленинграда, когда писательница была первым секретарем Союза писателей. Подробности этого рассказа много говорят не только о личности Кетлинской, но – и это, вероятно, главное – об описываемом времени, вернее, *временах.*

В 1930-е гг.: *"...несокрушимая последовательность её веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили её бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию её отца, бывшего царского адмирала, перешедшего в Красную Армию и убитого в Архангельске на улице <...> было общеизвестно, что убит адмирал белыми. Но вот дела Кетлинской ухудшались, склока обострялась. И на свет в чаду и пламени рождалась темная и неясная, но упорная история: отец Кетлинской убит красными" (210).* 1937 и следующие за ним годы: *"Пришли темные и трагические времена в партийной жизни, и появилась вызванная вечными её врагами тень несчастного её отца" (с. 211).* Во время войны и блокады *"Вера Казимировна с полной верой и последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие. Она брала всю тяжесть в эти тяжелые времена на свои плечи" (212).* После войны *"время пришло немирное. И должен сказать, что Кетлинская держалась храбро. На заседании в Смольном, том самом, что было посвящено журналам "Звезда" и "Ленинград", выступила Кетлинская едва ли не единственная с вполне трезвым словом, где заступилась за Берггольц" (215).* Несколько позже был арестован муж Кетлинской и *"пронесся смутный слух, что она собирается в Москву, в ЦК*

¹⁷⁹ Капица Петр Иосифович (1909-1998) – писатель, автор книг для юношества.

заявить, что она не верит, да, не верит в виновность своего мужа. Но не успела. Её вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин (муж Кетлинской – Е.Р.)¹⁸⁰. И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства, и стены мира её и его своды воздвиглись из хаоса. Она пожаловалась друзьям, что Зонин скрыл от нее ряд фактов из своего прошлого. И отказалась от него со свойственной ей железной последовательностью <...> А времена делались всё более мутными" (216).

Время, всегда "немирное" или "мутное", выступает в рассказе с не меньшей ясностью, чем характер героини, который оно формирует. Основой личности Кетлинской является искренняя вера, и Шварц заключает рассказ о ней словами: "*Вера – великая и очищающая сила...*" (216). Думаю, что не случайно, автор обыгрывает при этом имя Веры Казимировны так же, как не случайно прибавляет inferнальные "*чад и пламя*" к возникновению истории об убийстве красными адмирала, и "*тень несчастного её отца*", вызывающую в памяти тень отца Гамлета.

Именно описываемое время заставляет вспомнить адские силы и "расшатавшийся век", о котором говорит Гамлет. В дневниках за тот же 1956 г., когда писалась и "Телефонная книжка", рассказывая о 1937-ом, Шварц тоже называет "*удары страшной антихристовой печати*" (7.12.1956 – II, 215) и "*ад, смрад которого вот-вот настигнет*" (9.12.1956 – II, 217). При этом, в мемуарах времена характеризуются, в основном, эпитетами, точные годы не называются и о событиях подробно не рассказывается, автор полагает их известными. А может быть, Шварц не хотел о них писать более ясно из-за не рассеявшихся опасений, что какие-то черты страшных времен могут вернуться. Недаром в "Драконе" он показал не немедленное сказочное освобождение города после смерти тирана, а захват власти его приспешниками. Или просто не мог об этом писать, как сам он объясняет по поводу рассказов писательницы Елены Михайловны Тагер¹⁸¹, вернувшейся из лагерей: "*То, что*

¹⁸⁰ Зонин Александр Ильич (*Элиазар (Лейзер) Израилевич Бриль*, 1901-1962) – русский советский писатель-маринист и литер. критик. До 1917 г. состоял в партии эсеров, член ВКП(б) в 1919-1935 гг.(исключен), в Гражданскую войну комиссар полка, участник подавления Кронштадского восстания. Редактор и партработник в органах печати, Институте Красной профессуры и др. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Арестован в 1949 г. по обвинению в троцкизме, космополитизме и контрреволюционной пропаганде, осужден на 10 лет, освобожден в 1955 г., реабилитирован. Урна с его прахом захоронена в водах Баренцева моря 31 мая 1962 г.

¹⁸¹ Тагер Елена Михайловна (1895-1964) – поэт, писатель, мемуарист. В 1922 г. выслана на 2 года в Архангельск, в 1938 г. арестована, до 1948 г. в лагере, повторный арест в 1951-1954, вернулась в Ленинград в 1956 г. Автор воспоминаний об А. Блоке, О. Мандельштаме и др.

она рассказывает, невозможно, точнее, не в силах я записывать. И определяет это больше не её, а время" (446).

Об одном из невольных героев времени Михаиле Зоценко в "Телефонной книжке" написано всего 10 строк (Шварц пишет о нем в других частях "Дневников", в воспоминаниях о 1920-х годах), потому, вероятно, что мемуарист считает фигуру Зоценко выходящей за рамки своего рассказа – в историю: *"Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю, того, что могу рассказать. Это уже история. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников её я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежащего..."*(152).

Отмечу, что Шварц использует два значения слова "история": и "действительность в её развитии, движении", и "происшествие, преимущественно неприятное", – как определяет Словарь русского языка С. И. Ожегова.¹⁸²

В связи с тем "роковым", по словам Шварца, временем, в которое пришлось жить, он выделяет те черты характеров своих героев, которые он уважает. На одном из первых мест – *"доброкачественность"*, свойство, не определенное словами, но понятное. Это определение возникает, например, в рассказе о М.Э. Козакове, о Д.К. Острове (*"человек вполне доброкачественный"*(336)),¹⁸³ об Александре Прокофьеве (*"доброкачественный и ясный, не пользовался тьмой, а переносил её мучительно, как мы"* (353)).

Среди уважаемых Шварцем качеств – жизненная стойкость, честность и честь, человеческое достоинство, доброжелательность, воспитанность, веселость. Примеров множество.

Симон Дрейден¹⁸⁴ *"не обнаружил и признака разложения"*, *"когда он воскрес"* после ареста и пяти лет лагерей. О писательнице Александре Иосифовне Любарской¹⁸⁵, репрессированной в 1937, Шварц написал: *"...казалось бы Бог её благословил на жизнь счастливую. На самом же*

¹⁸² Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд 12, стереотипное. Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1978. – С. 237.

¹⁸³ Остров Дмитрий Николаевич (Остросаблин) (1906-1971) – писатель. В конце 1930-х гг. репрессирован, вскоре освобождён.

¹⁸⁴ Дрейден Симон Давыдович (1905-1991) – критик, театровед, литературовед. В 1923-1924 гг. так же, как Шварц, был секретарем К. Чуковского, вместе с которым составил и издал сборн. "Русская революция в сатире и юморе" (1925), в 1940-х гг. – завлит Камерного театра, театра им. Пушкина (Москва). Автор рецензий на спектакли по пьесам Шварца.

¹⁸⁵ Любарская Александра Иосифовна (1908-2002) – советская фольклористка, переводчица, редактор "маршаковской редакции" Детгиза, автор сборников сказок для детей (пересказ "Калевалы", "Путешествия Нильса с дикими гусями" С. Лагерлеф и др.) и мемуаров. В 1947 г. была принята в Союз писателей по рекомендациям Маршака, Е. Шварца и В. Орлова.

деле ей суждена была жизнь достойная" (291). Е.М. Тагер тоже "всё выдержала", и, по мнению мемуариста, "судьба должна это зачесть" (446). Анатолий Тимофеевич Чивилихин¹⁸⁶ характеризуется как "один из самых привлекательных людей в нашем Союзе писателей. Честен органически, как бывают люди музыкальны или черноволосы" (468). Борис Михайлович Эйхенбаум – "благожелателен и ясен" (499).

Отталкивающие Шварца качества – подлость, карьеризм, хитрость, грубость. Примеров также, к сожалению, много. Например, у писательницы Голубевой "энергия и проникаемость, как у вируса. <...> Её, Голубеву, не понимаешь и не выжжешь. А что она захочет в недовольстве и озабоченности своей выесть, то и выедает. <...> Всех пишущих о С. М. Кирове <...> считает она людьми, подлежащими уничтожению" (77).

И.В. Карнаухова¹⁸⁷ не только "недобрая, капризная, темная", в её портрете проявляется Шварц-сказочник, оживляющий метафору: "Если бы у Карнауховой был хозяин, то на вопрос "не кусается ли ваша Ирина Валериановна, он честно должен был бы предупредить: "Да, да, осторожнее, не надо её гладить" <...> она ухитряется обижать и говорить неправду и нападать чисто судорожно, как раз когда её гладят, то есть дела её идут хорошо" (207).

А в конце рассказа о Карнауховой Шварц пишет шутливо, но искренне: "Есть люди, которые боятся собак, а мой главный страх в жизни – это люди. Те люди, которые кусаются" (207).

Карьеристская предприимчивость неприязненно отмечена в упоминаниях Н. С. Надеждиной¹⁸⁸ и Е. П. Серебровской¹⁸⁹: "Многое можно сказать в оправдание той судорожной, бешеной деятельности, которую она (Н. С. Надеждина – Е.П.) развивает. Она и подобные ей. Но иной раз я боюсь её. И ей подобных <...> беспокойство их гложет. И далеко заводит, далеко. Серебровская, например, есть ли предел её предприимчивости?" (329).

"Загноившееся самолюбие" отталкивает в А. А. Морозове: "Лауреат Сталинской премии, автор толстой книги о Ломоносове, не говорящий, а крикливым тенором вещающий бородатый Морозов, года два назад кричал на пожилую, потерявшую на войне мужа Марию Львовну¹⁹⁰, как

¹⁸⁶ Чивилихин Анатолий Тимофеевич (1915-1957) – поэт, военный корреспондент. Был секретарем Союза писателей.

¹⁸⁷ Карнаухова Ирина Валериановна (1901-1959) – поэтесса, писательница, исполнительница народных сказок.

¹⁸⁸ Надеждина Надежда Степановна (1906-1973) – драматург, переводчиик.

¹⁸⁹ Серебровская Елена Павловна (1915 – 2003) – поэтесса, прозаик, литературовед. Окончила Лен. ун-т, печаталась с 1934 г., в нач. 1950-х гг. редактор "Ленинградского альманаха", автор трилогии для детей "Маша Лоза", трилогии о советской женщине – ровеснице революции, биограф. повести о В. Белинском, о полярнике М.М. Сомове, сост. сборника статей о Ленингр. метрополитене (1956), одна из авторов книги "Чекисты" и др.

¹⁹⁰ Мария Львовна Ойслендер, заведующая отделом в "Книжной лавке писателей", книжном магазине Литфонда на Невском проспекте

барин на горничную. И написал множество заявления на нее ко всему вдобавок" (287). Кстати, это тот самый Морозов, который во время блокады просил Шварца отдать ему своих кошек на съедение, говоря: "Я сконструировал аппарат, с помощью которого убиваю кошек без боли, мгновенно", - и не слушал Е.Л., пытавшегося объяснить, "что животные, долго прожившие у тебя, все равно что вошли в твою семью" (III, 104). Правда, жуткий блокадный голод может оправдать эту сцену, но Шварц (3 апреля 1957 г.) записывает, что Морозов – "один из самых неприятных мне людей <...> Этот до истеричности практичный, работающий человек либо работал, либо злобствовал и жаловался. В другом состоянии не приходилось мне его наблюдать. Разве только после получения Сталинской премии прибавилась еще одна черта: он стал иной раз поучать..."(III, 104).

Впрочем, Шварц не ригорист, он многое прощает людям. Пишет, например, о П.С. Кобзаревском,¹⁹¹ который сказал, что Шварц зарабатывает "тысячу рублей в день": "Но тем не менее мы встречаемся и обмениваемся приветствиями. Чего там. Мало ли что. Пусть живет" (264).

Самым главным в оценке любого писателя должно быть, несомненно, его творчество, и в этом вопросе Шварц строг, он перестает быть снисходительным, когда дело касается литературы, и недвусмысленно осуждает тех, кто лишен дара. Из описанных им ленинградских писателей он признает талант совсем за немногими (и, кстати, эти записи коротки, т. к. вполне определены).

Об Ольге Берггольц Шварц пишет, что "она самое близкое к искусству существо из всех": "И со всем своим пьянством, и любовью, и психиатрическими лечебницами она – поэт" (29). Юрий Герман "одарен необыкновенно", но "писать мог бы сильнее, чем начал" (69). О Вере Пановой: "Но вот происходит чудо: Вера Федоровна принимается за работу. И что там крашенные волосы её <...> Божий дар просыпается в ней. Чудо, которому не устаю удивляться. Если и несвободна она, то лишь от влияний времени; тут надо быть богатырем. Но в целом владеет она своим искусством, как всего пять-шесть мастеров в стране. В каждой её книжке непременно есть настоящие открытия" (366-367).

¹⁹¹ Кобзаревский Павел Семенович (Фаввий Залманович Гордон) (1909-1970) – писатель, переводчик с белорусского языка.

Литературный талант для Шварца – Божий дар, и он пишет о нем с удивлением и восторгом, например, в одном предложении, посвященном Вадиму Шефнеру¹⁹²: *"Это писатель особенный, драгоценный, простой до святости. Именно подобные существа и создали то явление, что называем мы литературой"* (492).

Литературная иерархия Шварца необычна. Конечно, на нее не влияют "мелочи", вроде Сталинской премии: её лауреат Морозов описан не только неприязненно – о его литературных способностях не упомянуто вообще. Автор "Телефонной книжки" оценивает писательский дар, исходя из способности внести новое, сделать открытие. С этой точки зрения, очень высоко оценивается им Борис Житков, описанный не в "Телефонной книжке" (к 1955 году Житкова уже нет в живых), а в очерке "Превратности характера". Отметил данный факт Лев Лосев в своем предисловии к парижскому изданию "МЕМуаров" Шварца, указав, что Житкова автор *"расценивает по разряду русской классики"*.¹⁹³

Когда Шварц упоминает в "Телефонной книжке" друзей молодости – Даниила Хармса, Николая Олейникова, Николая Заболоцкого, – то называет их, без оговорок, гениями: *"Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность – не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа,"*- пишет он (220). Удивительно, что эта оценка относится не только к печатавшемуся снова Заболоцкому, но и к Хармсу и Олейникову, стихи которых оставались в старых подшивках журналов «Еж» и «Чиж» или в памяти друзей, и в 1950-е годы не только не переиздавались, но не упоминались и имена авторов.

Кроме названных, Шварц признает талант в Валентине Каверине, хотя не без оговорок (именно с ним сравниваются обэриуты), он пишет: *"И вот постепенно, постепенно "литература" стала подчиняться ему, стала пластичной <...> лучшее в каверинском существе – добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская, с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам – начинает проникать на страницы его книг"* (223).

При оценке вклада в литературу даже близких друзей-писателей, Шварц осуждает их отступления от себя, от художественной правды. О Михаиле Слонимском: *"Начинал он – от души <...> В дальнейшем стал он притворяться нормальным. И потерял дорожку"* (417). О Леониде Рахманове: *"Он очень умен. И несомненно талантлив, но своими руками засыпает"*

¹⁹² Шефнер Вадим Сергеевич (1915-2002) – советский русский прозаик, поэт и переводчик, фантаст, журналист, фронтовой корреспондент.

¹⁹³ МЕМуары, с. 23.

нафталином и запечатывает сургучом живые источники, и заливает кипяченою водою огонь в своей душе" (382).

Самый важный недостаток, который может быть у писателя, с точки зрения Шварца, – отсутствие таланта и непонимание этого, непонимание литературы. Например, писатель Илья Бражнин¹⁹⁴ "лишен дара отличать хорошую литературу от средней. Поэтому не замечал он никакой разницы между своими книжками и теми, что вдруг почему-то нравятся читателям" (51-52); П.И. Капица "не отравлен самой литературой, хотя бы как Гор"¹⁹⁵ (262); драматурги Разумовский и Бахтерев "в области литературы <...> употребили для удовлетворения и убагостворения историческую тематику. <...> Так вот они и живут <...> выжидают, когда добыча не идет, наслаждаются, когда охота удачна. Были бы безвредны, если бы не развращающая уверенность, что так и надо жить, все такие" (403). Для писательницы Жанны Гаузнер,¹⁹⁶ которая "выполняет заказы, пишет о колхозах или заводах, понятия о них не имея", "литература – профессия, как для машинистки переписка" (492), и именно за это Шварц её осуждает.

И, наконец, в "Телефонной книжке" есть также портреты критиков и литературоведов, к которым автор относится осторожно, даже со страхом, полагая, что литературоведение может разрушить литературу как таковую. Упреком Каверину служит то, что "к литературе подходил он через литературоведение. И то, что прочел, было для него материалом, а то, что увидел, не было" (218). Литературовед Виктор Гофман¹⁹⁷, с которым Шварц познакомился в 1928 г., "из специальности своей ведение считал куда более достойным занятием, чем литературу", "не любил, а только интересовался предметом, который изучал" (32). И о В. Н. Орлове¹⁹⁸ написано, что "настоящего понимания литературы он лишен" (331).

¹⁹⁴ Илья Бражнин (Илья Яковлевич Пейсин) (1898-1982) – писатель, автор книг о спортсменах.

¹⁹⁵ Гор Геннадий Самойлович (Гдалиий Самуилович) – советский писатель. С 1923 г. жил в Петрограде, учился в Ленингр. ун-те, откуда был исключен за написанный им роман "Корова". В 1930-е гг. жил на Крайнем Севере, первая книга рассказов "Живопись" (1933), с 1934 г. – член Союза писателей. В начале Вел. Отечеств. войны вступил в народное ополчение. Создал цикл стихотв. "Блокада". В 1960-е гг. писал фантастические произведения, возглавлял Центр. лит. объединение Ленинграда.

¹⁹⁶ Гаузнер Жанна Владимировна (Жанна Натановна; 1912-1962) – писательница и переводчица с франц. языка. Дочь В. Инбер. Окончила Лит. ин-т им. Горького, в 1925-32 гг. жила в Париже, с 1932 г. – в Москве, с 1945 г. – в Ленинграде.

¹⁹⁷ Гофман Виктор Абрамович (1899-1942) – литературовед и лингвист. Участник домашнего исследовательского семинара Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума, один из авторов сборника "Русская проза". С 1940 г. – профессор кафедры славяно-русской филологии ЛГУ. Известность получили его большие статьи "Рылеев-поэт" (1929) и "Язык символистов" (1937), книга "Слово оратора: Риторика и политика" (1932), "Язык литературы: Очерки и этюды" (1936). Погиб в 1942 г. во время блокады Ленинграда.

¹⁹⁸ Орлов Владимир Николаевич (1908-1985) – литературовед, автор книг об А. Блоке и др.

Прекрасен только портрет Бориса Михайловича Эйхенбаума, у которого есть, по словам Шварца, *"настоящая сила, которая дорогого стоит. <...> Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет и не приврет в работе"* (498-499).

Евгений Львович Шварц – проницательный мемуарист, его портреты ленинградских писателей и литературоведов в "Телефонной книжке" разнообразны, глубоки и нелицеприятны. В них и строжайший отбор с точки зрения таланта, признаваемого за немногими, и осуждение "недоброкачества", и снисходительность к человеческим слабостям. В своих оценках Шварц беспощаден по отношению к двум категориям писателей: тем, у которых нет таланта (что понятно), и к талантам, которые пишут не в полную силу (Ю. Герман, М. Слонимский, Л. Рахманов). Вместе с тем, Е. Л. не становится в позу судьи, не пишет свои портреты с интонацией "карающей Немезиды", он многих оправдывает, всегда помня и о "смутных временах", и о собственной "слабости".

Всегда ли был прав Евгений Львович в своих оценках? Конечно, нет. Многого он не знал, не мог знать. Например, Геннадий Гор, описан Шварцем чрезвычайно иронически: Геннадий Гор – *"благообразный, коротко остриженный лысеющий человек в очках, очень, очень, очень культурных пристрастий в области литературы, живописи и вообще искусства. Был за это столь часто и строго наказываем, что вид имеет всегда неуверенный, глаза вопрошающие <...> Писал формалистично, а теперь пишет просто из жизни народов Севера..."* (97). Шварцевский портрет включает и описание жены Гора, *"могучей блондинки"*, кажется, бывшей домработницы, сына-геолога и дочки "с пушистыми волосами", но о творчестве самого Геннадия Самойловича ничего не сказано, хотя с сочувствием коротко упомянуто: *"Много читает <...> Живет трудно"* (97). Снисходительность к малоудачливому собрату сменяется в последних строках портрета горькой иронией уже по отношению к себе и к своему поколению: *"У всех у нас зрение, обоняние, вкус и некоторые другие чувства в большей или меньшей степени вывихнуты (как души людей в Драконовом городе – Е.Р.). И ничего нет приятного, когда чужое вопрошающее и неуверенное выражение напомнит тебе о разрушенной цельности"* (98).

Сергей Довлатов вспоминал о Горе совсем с другой интонацией: *"Позднее <...> Центральное ЛИТО возглавил Геннадий Гор, писатель огромной культуры, владелец одной из лучших в Ленинграде библиотек. По складу своему это был человек довольно робкий, раз и навсегда запуганный сталинскими репрессиями, так что протекции он оказывать не умел, но его*

*духовное и культурное влияние на своих, так сказать, воспитанников было очень значительным. Достаточно сказать, что из его литобъединения вышел самый, быть может, яркий писатель-интеллектуал наших дней – Андрей Битов. В этом же ЛИТО, в очень насыщенной культурной атмосфере формировались такие писатели, как Борис Вахтин и Валерий Попов”.*¹⁹⁹

Упомянутый Андрей Битов назвал свою вступительную статью к изданию первого формалистического и неудачного произведения Г. Гора – "Корова", написанного в 1929 г. и напечатанного только в 2000 г., – *“Перепуганный талант, или Сказание о победе формы над содержанием”*.²⁰⁰ Но еще позже обнаружили и вышли в свет 95 блокадных стихотворений Геннадия Гора, созданных им в 1942-1943 гг., по поводу которых писатель и критик О.А. Юрьев пишет: *“В русскую поэзию одновременно вошло несколько десятков стихотворений самого высокого уровня. В русскую поэзию вошла “Блокада” и как единый поэтический текст, вольно или невольно сложенный. Как великая книга. Часто ли происходят такие чудеса?”*²⁰¹

Этого чуда Шварц явно не ожидал.

Портреты Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Бориса Житкова

Дав себе слово писать в дневниках только правду, литературно не обрабатывать и даже не перечитывать написанное, Евгений Львович Шварц поставил перед собой трудную задачу, т. к. он описывал себя и других через много лет. Портрет Самуила Яковлевича Маршака написан в 1951 году, а познакомился с ним Шварц в 1924, секретарем Корнея Ивановича Чуковского Шварц был в 1922 г., вспоминая об этом в 1953, дружба с Борисом Степановичем Житковым относится к 1920-1930 годам и описана в 1952. Прошло 25-30 лет, чувства изменились, изменилось и положение вещей: в 1951-53 гг. Шварц не был человеком без профессии, бывшим актером или начинающим литератором, как в 1920-х – он был известным писателем. Кроме того, во время создания этих портретов в мемуарах

¹⁹⁹ Цит. по: www.sergeidovlatov.com/books/mynach.html (дата обращения 9.4.2019).

²⁰⁰ Журнал "Звезда", 2000, № 10, с. 85

²⁰¹ Юрьев О. А. Заполненное зияние -2 (Рец. на кн.: Гор Геннадий. Блокада: Стихи/ Пер. с русского с параллельным текстом. – Вена, 2007). – НЛЮ, 2008, № 89.

Шварца двое из трех «портретируемых» – Маршак и Чуковский – были живы, что, вероятно, прибавило трудностей, хотя автор и не предназначал дневники для печатания, по крайней мере, скорого.

Все три героя объединены, кроме писательства, временем и местом – 1920-ми годами в Петрограде-Ленинграде – и участием в жизни Шварца. С этой точки зрения, которой придерживаются составители издания дневников, первым был К. И. Чуковский, хотя его портрет – хронологически – возникает в дневниках последним из трех.

Евгений Шварц приехал в Петроград в октябре 1921 г. актером, в составе театра-мастерской из Ростова-на-Дону. Свое тогдашнее состояние он охарактеризовал в дневнике за 19 декабря 1952 г.: *«Я был женат, несчастен в семейной жизни, ненавидел свою профессию, был нищ, голоден и худ, любим товарищами и весел, весел до безумия и полон странной веры, что все будет хорошо, даже волшебной»* (I, 523). Жизнь Шварца в начале 1920-х гг., в его описании, состояла из холода, голода, душевного разлада, ненависти к актерству и поисков себя. К весне 1922 года театр распался, Шварцу пришлось грузить уголь и перебиваться другими случайными заработками, пока не попал он секретарем к Чуковскому.

Его описание начинается стремительно, без предисловий, в согласии с характером героя, по Шварцу. Первая метафора – вихрь, ураган, буря: *«Человек этот был окружен как бы вихрями...», «как ураган в пустыне», «он бушевал ...»* (8.1.1953 – II,70-71). С помощью образов пустыни и яда (*«...был он в отдаленном сходстве с анчаром, так что поднимаемые им вихри не лишены были яда»*) метафора оживает, как это бывает в сказках Шварца, и автор изображает себя внутри нее: *«Я, цепляясь за землю, стараясь не щуриться и не показывать, что песок скрипит у меня на зубах, скрывая от себя трудность и неестественность своего положения, пытался привиться там, где ничего не могло расти»* (II,71).

Кажется, вердикт вынесен в самом начале, но портрет усложняется, удаляясь от прямой линии «положительное-отрицательное». Все определения амбивалентны (текст переполнен противительными союзами, предложениями «несмотря на» и тире, служащими той же цели): *«Сила, не находящая настоящего, равного себе выражения, и поэтому – недобрая», «по трудоспособности трудно было найти ему равного. Но какой это был мучительный труд!»* Также противоречиво и описание внешности: *«...глядя так, словно тонет, своими особенными серыми глазами. И весь он был особенный – нос большой, рот маленький, но толстогубый, все*

неправильно, а красиво. Лицо должно бы казаться грубоватым, а выглядит миловидным, молодым, несмотря на седые волосы» (II, 71).

«Особенный» – главное определение внешности Чуковского. В него включаются и «длинная фигура», и «ручища», и «свобода движений», описанная в нескольких остановленных картинах прошлого, похожих на старые фотографии: Чуковский *«выбежал из дома своего <...> и обегал квартал <...> широко размахивая руками <...> На улице на него оглядывались, но без осуждения»,* другая – *«Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне...»,* третья – *«Корней Иванович выбежал – именно выбежал – из дому и мчался огромными шагами к трамвайной остановке» (9.1 и 11.1.1953 – II, 71-72).* То же восприятие внешности Корнея Ивановича сохранилось у Шварца и до 1953 г. (или окончательные оценки и формулировки, особенно связанные с характером, появились много позже 1920-х гг. и были экстраполированы автором в прошлое, что, мне кажется, вернее). Написав о встрече со своим уже 70-летним героем в 1952 г., Шварц повторяет определения, которыми характеризовал его внешность 30 лет назад: *стройный, седой, «все с тем же свежим, особенным топорным и нежным лицом» (18.1.1953 – II, 78).*

Чувства, бушевавшие в Чуковском и вокруг него в 1922 г., сложны и противоречивы: сила, отчаяние, восторг, беспокойство – и ненависть к людям. Последнее настойчиво повторяется автором дневника несколько раз, сначала по отношению к людям вообще, затем – к нему самому, секретарю, к семье Чуковского, к писателям: *«Он людей ненавидел, но не боялся, и это не вызывало осуждения и желания укунить у встречных и окружающих»; «...он глядел на меня, прищурив один свой серый прекрасный глаз, надув свои грубые губы, – с ненавистью», «ненависть этого рода вдруг вспыхивала в нем и к Коле – первенцу его, и к Лиде, и изредка к Бобе, и никогда к Муре, к младшей. По отношению к Марии Борисовне не могу ее припомнить» (II, 71); «ненависть схватывала его, как судорога, и он кусался. Кого он уважал и любил в те времена? Может быть, Блока. Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все» (11.1.1953 – II, 73).* Отмечена *«своеобразная ядовитость»* замечания Чуковского о Короленко: *«Оно было построено по любимому его образцу. Сначала похвала, а потом удар ножичком в спинку» (16.1.1953 – II, 76).*

В связи со сложностью отношений Чуковского с людьми, упомянута и его «пресловутая вражда с Маршаком», понятная «каждому». Шварц в этом случае как раз полагает, что особой вражды и не было, что *«Чуковский не любил Маршака, как и всех прочих. Не больше, чем*

родного сына. *Может быть, более откровенно*» (17.1.1953 – II, 77). В доказательство приводятся не только ядовитая реплика (построенная по «любимому образцу» «ножичка в спину»: «Да, да, Самуил Яковлевич, я так был рад за вас, вы так этого добивались!» - II,77) и разговор Чуковского с Хармсом по поводу «Мистера Твистера» («Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть такие куски, где ни мастерства, ни таланта – «сверху над вами индус, снизу под вами зулус! – и все-таки замечательно!» Так говорил он о Маршаке. Зло? Несомненно» - II, 77), но и гораздо более резкая его реакция на письмо об опасности, в которой находился во время Отечественной войны старший сын. После подобных аргументов вывод Шварца противоречит общепринятой теории «вражды»: «Нет, я считаю, что Маршака он скорее ласкал, чем кусал» (18.1.1953 – II, 78).

Объяснением этих сложных чувств Шварц считает мнительность и подозрительность характера Чуковского: «Дела могли бы идти отлично, если бы Корней Иванович понимал, что у него меньше врагов, чем ему это чудится» (11.1.1953 – II,73). С иронией, не очень близкой к сочувствию, автор дневника записывает, что его патрона расстраивало такое положение вещей, когда его считали виноватым: «...все оскорбленные <...> подняли шум <...> начались бурные собрания, на которых Чуковский отсутствовал по болезни. Говорили, что он близок к сумасшествию.²⁰² Не знаю. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно обижал кого-нибудь», «он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило путаницу и ранило в тысячный раз нежного, нечаянно завязавшего драку Чуковского» (10-11.1.1953 – II,72, 73).

Следствием описанной противоречивости характера героя является, по Шварцу, его одиночество: «У Корнея Ивановича не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве...» (II,71).

Оценка, напомним, дается через 30 лет после событий, быть может, в 1922 г. отношения не осмысливались Шварцем так резко. Об этом говорят другие приведенные факты: «Научил он меня править корректуру в гранках, пометать ошибки на полях и в строчках. Иногда у нас завязывались разговоры...», «...он всегда был добр ко мне», «расстались мы друзьями» (10.1 и 16.1.1953 – II,72, 76). И сочувствие звучит, рядом со строками о «нечаянности» нанесенных Чуковским обид: «Но проходили эти бои не бесследно. Иногда мне казалось, что

²⁰² Речь идет о публикации А.Н. Толстым в литературном приложении к газете "Накануне" (Берлин) за 4.6.1922 частного письма Чуковского без ведома последнего, что вызвало скандал. См.: Переписка А.Н. Толстого / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А. М. Крюковой. М., 1989. Т. 1. – С. 312; печатные отклики описаны: К. И. Чуковский: Библиограф. указатель / Сост. Д. А. Берман. М., 1999. – С. 110-111; Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин, 1921-1923. Paris, 1983. – С. 35-44.

измучен он нешуточно и все смотрит внутрь, на ушибленные в драке части души. Вряд ли он был душевно болен, но мне казалось, что душа у него болит все время» (II,72). И удачные остроумные реплики Корнея Ивановича Шварц не забыл процитировать, и некоторые рассказы (о Мережковском, З. Гиппиус, Короленко) запомнил с 20-х годов и записал.

Портрет Чуковского, созданный Шварцем в дневнике за 8-20 января 1953 – непростого – года, получился скорее психологическим, чем литературным, но главное и для автора, и для героя – литература, обратимся к ней. Шварц считает, что Чуковский, несомненно, обладает творческой силой, «внушающей уважение» («Маршак сказал однажды: «Он не комнатный человек» - II, 73), но не находит ей «настоящего, равного себе выражения» (II,71). Воспринимал Шварц Чуковского, судя по тексту, скорее, как критика, чем как детского писателя, т. к. только однажды апеллирует к его стихотворному созданию («Мойдодыру»), много говоря при этом о качествах критика.

Первое из них – любовь к чужим стихам: «Стихи он запоминал и читал, как это свойственно настоящим поэтам. Любил, вероятно, и некоторых прозаиков, но не так, как Некрасова, например». Выделяет Шварц также и силу ненависти в критической деятельности: «Одна черта, необходимая для критиков, у него была: он ненавидел то, что другому только не нравилось бы». Рядом же стоит неизменное (в пределах портрета Чуковского) «но»: «Но любил с такою же силой – редко» (II,73).²⁰³

Надо отметить, что в последнем случае Шварц призывает на помощь своей оценке авторитет Маршака (которого он цитирует по поводу Чуковского дважды): «Маршак не раз говорил: «Что за критик, не открывший ни одного писателя». Мало того, цитированные слова приводятся в заключении эпизода-воспоминания о чтении стихов Саши Черного «Корней Белинский» с тем же выводом, правда, Шварц отдает должное характеру своего героя, не забывая написать, что Чуковский сам признал «приговор» Саши Черного: «Начал Корней Иванович читать улыбаясь, а кончил мрачно. Думая о своем. И, прищурив один глаз, сказал: «Все это верно» (II, 73).

²⁰³ Вероятно, эта оценка Шварца повлияла на Л. Пантелеева, который в своих воспоминаниях "Седовласый ребенок" пишет: "Я знал Корнея Ивановича не очень уж близко, никогда (или почти никогда) не вел с ним задушевных, сакраментальных бесед и все-таки решаюсь высказать предположение, что в жизни своей он любил по-настоящему только двух, может быть трех людей. И перо его тоже далеко не всегда было добрым. Когда он писал предисловие к моему собранию сочинений, он признался мне, что работать ему было трудно, что гораздо легче пишется ему о тех, кого он ненавидит и презирает, чем о тех, к кому испытывает чувство расположения". – Цит. по: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/vospominaniya/sedovlasyy-rebenok> (сайт семьи Чуковских, напечатано по машинописной копии из архива Е.Ц. Чуковской). – Дата обращения 9.4.2019.

Интересно отметить похожее мнение (относящееся к 1920-м годам) друга Шварца, "серапионова брата" М. Слонимского о критике Чуковского, переданное в дневнике К. Федина: *"Верно про Горького Слонимский сказал, сопоставляя с К. Чуковским: Горький любит, когда кто-нибудь напишет, а Чуковский не любит"*.²⁰⁴

Шварц считает, что у Чуковского не было «дара к прозе»: *«Во многих детских стихах язык у него обнаруживался (конец «Мойдодыра», например), а в прозе в его развязанности (так – Е.Р.) чувствовалась скованность, ограниченность»*. Полагаю, что цитированная оценка дается Шварцем-писателем, Шварцем 1953 года, а не 1922-го, хотя в дальнейшем приводятся воспоминания: *«Когда начинал он рассказывать о писателях, часто не вспоминал, а сочинял. А прозаик без памяти – невозможен»*, – чему иллюстрацией служит рассказ Чуковского о стихотворении поэта Скитальца и пародии на него А. Измайлова.²⁰⁵

Вывод автора дневника звучит однозначно: *«Не было у него памяти, чтобы запомнить, и языка, чтобы рассказать»*. При этом Шварц повторяет свои слова о творческой силе Чуковского, которую он считает актерской: *«В прозе проявлялась та сила, которая так легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голосом, жестикулировала ручищами. Актерская сила, с фейерверками, конфетти и серпантином»* (II,73); *«актерская сила»* Чуковского, в его изображении, еще и легкомысленна – в сопровождении атрибутов новогодних празднеств.

Но не одно отрицание актерской игры в жизни слышится в описании встречи с 70-летним Чуковским в другие – невеселые – времена, в 1952 г., на совещании по детской литературе. Сначала не очень одобрительно описаны *«нарочито широкие движения <...> длинных рук, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу»* в приветствии знакомым в зале, но затем восхищенно – озорная реакция на замечание докладчика А. Суркова Маршаку и С. Михалкову, что они перестали писать сатиры для детей: *«Чуковский, услышав это, сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчеркнуто грустно: «Да, да, да, это национальное бедствие»* (19.1.1953 – II,78). Шварцу нравятся юмор и смелость Корнея Ивановича тем более, что в 1952 г. подобное позволяли себе немногие. Заключен и этот

²⁰⁴ Художник и общество (неопубликованные дневники К.Федина 1920-30-х годов) / Публ. Н.К.Фединой, Н.А.Сломовой, примеч. А.Н.Старкова // Русская литература. – 1992. №4. – С.157.

²⁰⁵ "Однажды он рассказал, как приехал на какой-то вечер Скиталец, пьяный, хотел прочесть свое стихотворение: "Мне вместо головы дала природа молот" и прочел "Дала природа ноги". Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки вовсе не Скитальца, а пародия на него Измайлова. Значит, вся история сочинена" (II, 73). Стихотворение Скитальца (С. Г. Петрова (1869-1941), вызвавшее пародию А. Измайлова 1907 г.: "Не похож я на певца. /Я похож на кузнеца..."

эпизод, и весь рассказ о Чуковском словами о *«веселом духе первых дней детской литературы»*. Кажется даже, что в мрачные тона окрашенном повествовании Шварца стали слышны нотки зависти к сохранившейся «актерской» веселости Чуковского.

Другое обвинение Шварцем Чуковского – в немоте – гораздо серьезнее, собственно говоря, автор полагает, что писатель не может (не умеет?) писать прозу: *«Та сила, внутренняя, которая угадывалась, заставлявшая его уходить в себя посреди разговора или бегать вокруг дома посреди работы, была нема и слепа и только изредка сказывалась в стихах»* (12.1.1953 – II,73-74).

Портрет Чуковского, созданный Шварцем, великолепен по художественной силе. Изображение откровенно и продиктовано разными чувствами – от недоброжелательства и обиды до сочувствия, а с точки зрения стиля – иронично и метафорично. Основная метафора, постепенно вырастающая из текста – определение одиночества, непохожести, особенности – «белый волк». Волк – зверь не простой, сильный и опасный (сила Чуковского *«не радовала его, а грызла и бродила, отчего он и кусался»* (II,74), но белый волк необычен и потому обречен на одиночество: *«...он один, как всегда, как белый волк»* (II,78).

У этого текста Шварца была своя судьба. Впервые под названием "Белый волк" он был напечатан в третьем выпуске самиздатовского исторического сборника "Память" (под редакцией А. Рогинского) в 1978 г. в Москве²⁰⁶, переиздан в составе этого же сборника в 1980 г. в Париже²⁰⁷, затем в 1982 г. в упоминавшемся издании воспоминаний Шварца "Мемуары" под редакцией Л.Лосева, также в Париже.

Между редакциями текста существует довольно много разночтений лексического и стилистического плана (*"Человек этот был окружен как бы вихрями, делающими жизнь вблизи него почти невозможной"* (II, 70-71). – *"Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной"*²⁰⁸ и т. п.). Часто разночтения значительно меняют акценты, например: *"У Корнея Ивановича не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве без настоящего пути, без настоящего языка, без любви, с силой, не находящей настоящего, равного себе выражения, и поэтому – недоброй"* (II, 71). – *"У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с силой, не открывшей настоящего, равного себе выражения, и потому недоброй"*²⁰⁹). Во

²⁰⁶ "Память". Исторический сборник. Вып. 3 / Предисл. Р.Михайлова. Примеч. В.Воронина. – М., 1978. – С. 287-328.

²⁰⁷ Paris, 1980. – С. 284-300.

²⁰⁸ Мемуары, указ. изд. – С. 92.

²⁰⁹ Там же.

втором варианте слово "никогда" переводит временное состояние в постоянное, а в первом отсутствует знаменательное "без веры". Не имея возможности обратиться к рукописи, я не могу делать заключений об авторской воле, укажу только на заключение текстов.

Оба заканчиваются встречей в апреле 1952 г. на совещании по детской литературе в Москве и репликой Чуковского (правда, в издании 1999 г. он *"сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчеркнуто грустно"* (II, 78), а в другой редакции *"сделав томные глаза, Чуковский пробормотал"*²¹⁰, но это можно отнести за счет стилистической правки). В наиболее полном на данный момент издании "Дневников" Шварца 1999 года текст заканчивается так: *"И снова на меня пахнуло веселым духом первых дней детской литературы. Вот и кончен рассказ мой о Чуковском"* (II, 78). Другие же издания заканчиваются следующим абзацем: *"На несколько мгновений словно окно открылось, и на меня пахнуло веселым воздухом двадцатых годов. Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я почувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуждения. Прищуриив один глаз, ступил он в сторону за занавеску к выходу и пропал, как будто его и не было. Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество старый белый волк"*²¹¹. Данная редакция усиливает впечатление силы и отчужденности героя.

Реакция на портрет Чуковского существует в скрытом виде в воспоминаниях Л. Пантелеева о Шварце, на что указал он сам в письме к Л.К. Чуковской от 12.5.1972: *"... на мне, на моей совести висит обязанность где-то и как-то сказать, что Евгений Львович, после одной поездки в Москву и встречи с К. И. (Чуковским – Е.Р.), признался мне, что в «Белом волке» он был несправедлив по отношению к Корнею Ивановичу, написал не портрет, а пасквиль. Он собирался переписать эту работу. И не успел.*

Об этом нашем разговоре я упомянул в воспоминаниях о Шварце (не называя, правда, имени Чуковского).

*За тему «Шварц – Чуковский» я брался в течение последних полутора лет несколько раз и – не осилил. Мешает уже одно то, что «Белый волк» не опубликован. Приходится ссылаться на рукопись, на разговоры, опять-таки на письма"*²¹².

В воспоминаниях о Шварце Л. Пантелеев пишет, что в его мемуарах *"жизненная и так называемая художественная правда гармонично сливаются: веришь и радуешься каждому слову. И ни в одном случае твое ухо не оскорбляет фальшь"*, – но затем продолжает: *"Только в очень*

²¹⁰ Там же, с. 113.

²¹¹ Там же.

²¹² Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 356.

редких, в исключительных случаях Шварц уклоняется от взятого курса. Я имею в виду некоторые его литературные портреты. Два-три из них сделаны грубовато, однолинейно, они жестоки и несправедливы по отношению к тем, кого он писал. Я говорил ему об этом, и он соглашался:

- Да, написалось под влиянием минуты. Да, Икс совсем не такой. Я как-нибудь непременно перепису.

И – не успел, не переписал".²¹³

Печатание "Белого волка" в Париже в 1980 г. вместе с его собственными воспоминаниями о Чуковском "Две встречи" Л. Пантелеев считал неправомерным: "А что за хамство было публиковать «Волка»!", – как он выразился в письме к Л. Чуковской от 22.4.1980²¹⁴. Не ограничившись возмущением в письме, Л. Пантелеев написал возражения: "Посылаю то, что у меня написалось о «Белом волке». Написалось не то, что хотелось, и не так, как хотелось. Не очень связно и вяловато. Без адреса. А это всегда сказывается на почерке, на голосе..."²¹⁵

В примечании публикатор переписки Е. Ц. Чуковская объясняет: "Пантелеев прислал рукопись «О „Белом волке“» (4 страницы на машинке, хранится в РГАЛИ). Автор рассказывает, как Е. Л. Шварц прочитал ему «Волка», выслушал его возражения. После этого Е. Л. Шварц ездил в Москву, там встретил Чуковского и, рассказывая Пантелееву об этой встрече, сказал: «Ты, конечно, был тыщу раз прав, я ошельмовал Корнея в своем „Белом волке“. Написалось с маху, сгоряча, под влиянием минуты... Найду время, непременно перепису». И — не нашел, не переписал, не успел. Пантелеев приводит дружеское письмо Е. Л. Шварца к Чуковскому, написанное уже после «Белого волка». В этом письме Е. Л. Шварц пишет: «Увидел я Ваши почерк и не то, что вспомнил, а на несколько мгновений пережил двадцать второй год. Увидел Вашу комнату с большими окнами, стол с корректурами переводов Конрада, с приготовленными к печати воспоминаниями Панаевой, с пьесами Синга.... Попав к Вам в секретари, я был счастлив. А Вы всегда были со мной терпеливы и ласковы..."²¹⁶

Лидия Корнеевна оценила порыв Л. Пантелеева, ответив в письме от 30.8.1980: "Спасибо Вам за Вашего Анти Белого Волка. Я очень ценю не только самую эту Вашу вещь, но и то душевное движение, каким вызвано ее написание. Вещь полемическая и в то же время гармоничная, без задора и запальчивости".²¹⁷ Затем последовало "Открытое письмо в редакцию журнала "Континент" (датированное 25.1.1981) Л. Чуковской, которая

²¹³ Пантелеев Л. / Мы знали Евгения Шварца. – С. 49-50.

²¹⁴ Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 472.

²¹⁵ Письмо Л. Пантелеева от 29.7.1980. – Там же, письмо № 475.

протестовала против нарушения авторской воли – печатания "Двух встреч" Л. Пантелеева без согласия автора и представления в искаженном виде отношений Шварца и Чуковского: *"... я располагаю документальными подтверждениями того, известного мне, обстоятельства, что «Белый Волк» был, по прошествии лет, забракован самим автором, Евгением Шварцем. Храню в архиве и дружески-нежное, любящее письмо Евгения Львовича к Корнею Ивановичу, — письмо позднейшего времени. Опубликованием «Белого Волка» авторская воля оказывается не только нарушенной, но прямо попорченной. Отношения между двумя писателями — Е. Шварцем и К. Чуковским — оказались представлены в искаженном <...> виде".*²¹⁸

Таким образом, в кругу близких К. И. Чуковскому людей "Белый волк" считался пасквилем. Дело осложняется еще и тем, что существует юбилейная панегирическая статья Шварца о Чуковском, написанная к 75-летию последнего и напечатанная в ленинградском журнале "Нева" за 1957 г. – "Некомнатный человек"²¹⁹. Название заимствовано из реплики Маршака о Чуковском (II, 73). За печатное поздравление Лидия Корнеевна благодарил Шварца через Л. Пантелеева в письме от 20.3.1957 г.: *"Привет Евгению Львовичу – и благодарность – он хорошо написал о К. И., особенно в первой половине статьи".*²²⁰

Здесь многие мотивы "Белого волка" переосмыслены, акценты изменены, похож только внешний портрет: *"Седая шапка волос. Молодое лицо. Крупные губы, крупный нос, – а общее впечатление нежности, даже миловидности".*²²¹

²¹⁶ Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Примечание 635. Е.Ц. Чуковская не приводит даты письма Шварца, но, вероятно, ответом на него было следующее письмо К.И. Чуковского от 28.10.1956: "А между тем из всех писателей, на которых Вы тогда, в 20-х годах, смотрели снизу вверх, Вы, дорогой Евгений Львович, оказались самым прочным, наиболее классическим. Потому что, кроме таланта и юмора, такого «своего», такого шварцевского, не похожего ни на чей другой, Вы вооружены редкостным качеством — вкусом — тонким, петербургским, очень требовательным, отсутствие которого так губительно для нашей словесности. И может быть хорошо, что Вы смолоду долгое время погуляли в окололитературных «сочувствованиях»; это и помогло Вам исподволь выработать в себе изощренное чувство стиля, безошибочное чувство художественной формы, которое и придает Вашим произведениям такую абсолютность, безупречность, законченность... А святые двадцатые годы вспоминаются и мне, как поэтический Рай. И неотделим от этого Рая — молодой, художавый, пронзительно остроумный, домашний, родной «Женя Шварц», обожаемый в литературных кругах, но еще неприкаянный, ненашедший себя, отдающий все свое дарование «Чукоккале». 20-е годы, когда мы не думали, что Вам когда-нибудь будет 60, а мне 75, и что те времена станут стариной невозвратной. И Дом искусств, и «Серапионовы братья», и Тынянов, и Зощенко, и Олейников, и Миша Слонимский, и Генриэтта Давыдовна, и Маршак (тоже художавый, без отдышки, без денег) — все это так и ползет на меня, стоит мне только подумать о Вас и о Вашей блистательной литературной судьбе. Любящий Вас К. Чуковский (прадед). До скорого свидания". – Цит. по: Литературное обозрение. – 1987, №1. – С. 110.

²¹⁷ Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 476.

²¹⁸ "Континент", Париж. – 1981, № 27. – С 378. См. там же ответ Н. Горбаневской.

²¹⁹ "Нева", 1957, № 3. – С. 202-203.

²²⁰ Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 77.

²²¹ "Нева", 1957, № 3. – С. 202.

Черты же характера героя поданы с прямо противоположным – положительным – знаком: *"...он трудоспособен до страсти. Он не может не работать"*, – сказано вместо: *"По трудоспособности трудно было найти ему равного. Но какой это был мучительный труд!"* (II, 71). В обоих текстах перечисляются те же работы, лежавшие когда-то на столе Чуковского в 1922-23 гг.: пьеса ирландского писателя Д.М. Синга в переводе Чуковского вышла в Петрограде в 1923 г.; издательство "Всемирная литература" перестало существовать в 1924 г., слившись с Ленгизом; "Воспоминания" А. Панаевой под редакцией Чуковского вышли в издательстве "Academia" первым изданием в 1927 г. (переиздавались затем неоднократно). В 1957 году не могла вестись работа над указанными текстами, всё это было анахронизмом и доказывает, что Шварц использовал свои воспоминания для написания статьи, в которой сместил акценты: *"Он (Чуковский – Е.Р.) переходил от одной к другой (работе – Е.Р.) – таков был его способ отдыхать"*, – вместо: *"...он часов с трех ночи бросался из одной работы в другую с одинаковой силой и с отчаянием и восторгом"* (II, 71).

Такая же авторская правка произошла в строках о прогулках Чуковского: *"Когда напряжение, с которым работал Корней Иванович, переходило границу возможного, он вскакивал и выбегал на улицу. Широко размахивая руками, глядя в пространство своими особенными серыми глазами, обегал он квартал, и все оглядывались на него"*, – написано в юбилейной статье. В дневнике же за 9.1.1953 г. текст продолжает метафору "урагана в пустыне": *"Иногда выбегал из дома своего <...> и обегал квартал <...> широко размахивая руками и глядя так, словно тонет, своими особенными серыми глазами <...> На улице на него оглядывались, но без осуждения"* (II, 71).

Сглажена и оценка критической деятельности Чуковского: *"Прирожденный критик влюбляется там, где рядовой читатель только любит, он ненавидит и мучается, когда мы только скучаем"*.²²²

Разумеется, в поздравительной статье не пишется критический очерк, тем более что заключена она словами во множественном числе – "поздравляем", "желаем", – видимо, от всех ленинградских писателей. Тем не менее, такая разница в оценках вызывает вопросы. Л. Лосев в примечании к публикации "Белого волка" считает импульсом, вызвавшим его, "обидный каламбур" Чуковского в книге "От двух до пяти": *"В детскую литературу бросились все, от Саши Черного до Евгения Шварца"*.²²³ Он же высказывает предположение,

²²² Там же.

²²³ "МЕМуары", с. 231.

что Чуковский мог прочитать "Белого волка", видя доказательство в его позднейших словах: "...я был в числе тех, кто не угадал в неугомонном остряке и балагуре (с которым я встречался одно время почти ежедневно) будущего автора таких замечательных сатир и комедий, как "Обыкновенное чудо", "Тень", "Голый король", "Дракон".²²⁴

Судя по переписке Лидии Корнеевны, Чуковский не читал "Белого волка", но в той же переписке есть упоминания о его высокой оценке "Дракона": в письме вдове Шварца "К. И. (Чуковский – Е.Р.) пишет о «Драконе» как о пьесе не столько талантливой, сколь гениальной".²²⁵

Упомяну еще один сюжет воспоминаний о Чуковском, в котором Шварц оказался не прав. 16.1. 1953 г. он рассказал, что перед самым окончанием своей секретарской службы (в связи с отъездом на Донбасс летом 1923 г.) "заспорили мы с ним (Чуковским – Е.Р.) по поводу статьи его о Блоке. Мне казалось, что поэт, узнавший, что крестьяне сожгли его имение и сказавший на это просто: "Туда ему и дорога", заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Он, уже когда я уехал, говорил <...> что гонорар за статью, вызвавшую такой спор, он переведет мне. Но не перевел" (II, 76).

В опубликованном только в 2016 г. письме К.Федину от 27.7.1923 г. Чуковский пишет: "Если за статью был бы гонорар, можно половину его употребить на посылку пособия Жене Шварцу и Мише Слоним<скому>, что я надеюсь, Вы без шума и сделаете".²²⁶ В следующем письме от лета 1923 г. он продолжает тему: "Не лучше ли часть, причитающуюся Шварцу, выдать здесь на руки его временно вдовствующей супруге?"²²⁷ И, наконец, тем же летом 1923 г. пишет: "Поговорил я с друзьями — коих, кстати сказать, у меня не имеется — и вижу, что статейка о Блоке для Вашего издания негожа: очень уж она, извините, марксистская", что И.Ю. Иванюшина комментирует следующим образом: "В письме от 27 июля Чуковский предлагает Федину напечатать в журн. «Книга и революция» статью о Блоке. Видимо, после эпизода, описанного Е. Шварцем в «Белом волке», он отказывается от этой идеи".²²⁸

Таким образом, Чуковский пытался выполнить свое обещание насчет гонорара, но печатание статьи не состоялось, возможно, именно в связи со спором с Е.Л.

²²⁴ Там же, с. 232. Цит. по: Чуковский К. И. Собр. соч. в 6 тт. – Т.6. – М., 1969. – С. 624-625

²²⁵ Письмо от 17.4.1988. – Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 597.

²²⁶ К.Федин и его современники: Из литературного наследия XX века. Кн. 1 / Сост. Н. В. Корниенко. – М., 2016. – С. 586.

²²⁷ Там же.

²²⁸ Там же, с. 587.

В заключение рискну высказать предположение, что Шварц не изменил своих воспоминаний о Чуковском не за недостатком времени и сил, а будучи уверен в своем восприятии, он мог также осознавать художественную силу своего портрета и своей метафоры, недаром вызвавших полемику. Его деликатность, но и уклончивость, отмеченные многими мемуаристами, не позволили ему напечатать текст, хотя на его основе (за несколько месяцев до своей смерти) Е.Л. создал поздравительную статью к юбилею, переменив все акценты.

* * *

Портрет Маршака написан в других тонах – более спокойных и ясных. И начинается повествование обычным мемуарным способом – с описания первой встречи 1924 г., когда Шварц принес рукопись своего «Рассказа старой балалайки», и роль Маршака в жизни автора названа сразу – учитель. И главное чувство в отношении автора к герою – любовь – определено несомненно, мало того, оно с некоторыми оговорками сопровождает Шварца и в настоящем времени: *«Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами <...> Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю»* (15.1.1951 – II,115).

Любовь к герою портрета окрашивает и рассказ, и все определения характера Маршака, и даже то, что сказано автором о самом себе в этой связи. Он приводит отзыв Маршака о себе тех лет: *«...сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского»*, – и подтверждает, что ему, действительно, было *«легко, весело приходить, приносить исправления <...> и наслаждаться похвалой строгого учителя»*. Шварц уважительно пишет о *«драгоценном умении Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою»*, и восхищается *«великолепным его даром – радоваться успеху ученика, как своему успеху»* (II, 114-115).

Шварц понимает масштаб Маршака, поэтому легкая ирония, сопровождающая рассказ, не «снижает» его: *«Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробежал быстро, маленькими шажками саженой пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал <...> отделиться от земли»* (16.1.1951 – II,115). Учительство Маршака описано Шварцем не только как содержание его личности, но и как нечто

возвышенное: «...индусские религиозные философы <...> утверждали, что учить надо не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще», «...Маршак, чувствуя главное, вносил в споры о нем необходимую для настоящего учителя страсть и духовность» (II,115-116).

Создаваемый портрет, тем не менее, не пытается стать благостным, т. к. учитель «бывал и обыкновенным человеком», а его бесстрашие и непримиримость вызвали стремление к спорам у его учеников. Но Шварц, описав свою растерянность в середине 1920-х гг., связанную с выбором пути, утверждает, что именно Маршак вывел его на дорогу, заключая даже несколько торжественно (что ему мало свойственно): «Все немногое, что я сделал, – следствие встречи с Маршаком в 1924 году» (17.1.1951 – II,117). Хотя критические элементы присутствуют, но они сочетаются с положительными в такой пропорции, что описание воспринимается как восторженное: Маршак говорил об искусстве «не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал» – «но, слушая его, я понимал и как писать, и что писать»; его указания были «длинными и запутанными» – и «все же точными» (II,116), «чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное» – «но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью – дело божественной важности» (18.1.1951 – II,117).

Знакомство автора с Самуилом Яковлевичем приходится на весну 1924 г., но Шварц описывает это время не только как природный сезон, но и как «весну» – начало всей новой детской литературы: «...вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал <...> Начинал свою работу Клячко – основал издательство «Радуга» <...> Но все это едва-едва начиналось, была весна» (II,117). Появление детских писателей, журнала, издательства описано похоже на процесс созревания почек на деревьях весной (хотя рядом и упоминается военный термин, легко вошедший в советскую лексику – «отряд писателей»).

Маршак работал страстно, того же требуя от учеников-коллег, которые «года через два» стали «подсмеиваться» над учителем. И хотя Шварц включает себя в число насмешников местоимением «мы», он все-таки дважды обрывает рассказ о последующих трудностях в отношениях и возвращается к переломной в его жизни весне 1924 г., связанной с Маршаком. Он пишет через 27 лет, что это было «время, которое начало то, что не

кончилось еще в моей душе и сегодня» (19.1.1951 – II,118). Что же касается критики, то Шварц, излагая ее в общих чертах, «поднимает» этим рассказом Маршака на еще более высокую ступень – волшебника: «...когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально поняли его слова, что человек, если захочет, может отделиться от земли и полететь. Мы не видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали» (20.1.1951 – II, 118-119).

Бытовых подробностей в портрете Маршака немного (и, кстати, нет описания внешности): курение, нервность и связанное с ней нездоровье, увлеченность работой настолько, что забывались еда и сон, а призывы жены воспринимались с «детским негодованием». Рассказы же Самуила Яковлевича переживались и помнились Шварцем, как собственные воспоминания, а увлеченность работой привела к личной близости: *«Мы легко перешли на «ты», так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «Ты, Самуил Яковлевич» (II,118).*

В параллель к изображенным Шварцем «неистовым» прогулкам Чуковского, обегавшего целый квартал, *«широко размахивая руками» (II,71), так что на него оглядывались прохожие, описаны и прогулки Маршака (кстати, в том же районе, и даже квартале, Петрограда): «На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы» (II,118).*

В последней подробной записи о Маршаке (от 21 января 1951 г.) Шварц добавляет соображения об учительстве: *«Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок <...> Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали <...> Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил <...> как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулусов, вылепил двух-трех големов». Заключение записи замыкает композицию рассказа словами о любви и признательности, причем прошедшими «беспощадный» анализ: «...я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года и была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз <...> Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным, сипловатым голосом слова: «Здравствуй, Женя» (II, 119).*

* * *

И, наконец, портрет Бориса Степановича Житкова, включающий в себя воспоминания и размышления о Маршаке, Н. Олейникове, Д. Хармсе, Евгении Иванове, и мимолетные зарисовки В. Шкловского, Е. Замятина, О.Е. Капицы и других. Этот портрет – самый подробный из трех (он занимает 17 страниц, тогда как о Чуковском написано 8, 5, а о Маршаке – 5, 5 страниц), записи о Житкове Шварц вносил в дневник 23 дня подряд (с 10 октября по 1 ноября 1952 г.) – о Чуковском он писал 13 дней, о Маршаке – 7 (разумеется, нельзя все сводить к этим показателям, имя Маршака, например, и его отзывы упоминаются намного чаще в других записях дневника, особенно в «Телефонной книжке»²²⁹).

Рассказ о Житкове начинается с внешнего импульса – просьбы его сестры, вызвавшей смятение, принять участие в сборнике его памяти (в котором воспоминания Шварца напечатаны не были). Смятение связано с тем, что все рассказать не удастся (*«очень многое тут не скажется»* - 10.10. 1952 – II,124), вероятно, имелись в виду не литературные трудности, а ссора Житкова с Маршаком. Тем не менее зачин воспоминаний связан с именем Маршака, после рассказов которого возникает сначала воображаемый портрет героя: *«...Самуил Яковлевич мне сказал, что появился новый удивительный писатель <...> По всем этим рассказам представлял я себе седого угрюмого великана...»* (11-12.10.1952 – II,124-125). Шварц приводит и биографические данные со слов Маршака, причем обращает на себя внимание фраза, связанная с соперничеством его и Чуковского: *«Гимназию кончил он (Житков – Е.Р.) в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, свою рукопись принес ему, но тот ничего не сделал. Тогда Маршак заставил Житкова писать по-новому»* (11.10.1952 – II,125).

В воспоминаниях Чуковского этот период становления Житкова-писателя описан по-другому: во-первых, предложение попробовать себя в литературе исходило, по версии автора, именно от него, он и отнес первую рукопись гимназического приятеля в издательство, а затем познакомил его с Маршаком, в журнале которого он и стал работать (*«Конечно, своей радостью я не мог не поделиться с С.Я. Маршаком, который встретил Житкова как долгожданного друга»*²³⁰). Шварц же, наблюдавший процесс вблизи, абсолютно

²²⁹ См. указатель имен в кн.: *Е. Шварц. Телефонная книжка.* – М., 1997. – С. 635.

²³⁰ Цит. по изд.: *Чуковский К. Современники: Портреты и этюды.* – Минск, 1985. – С. 83.

уверен, что Житков обязан своим вхождением в литературу Маршаку: «Целыми ночами сидели они, вырабатывая новый житковский язык, создавая новую прозу...» (12.10.1952 – II,125). Правда, следует отметить, что Шварц пишет о весне 1924 г., а Чуковский – о поздней осени-зиме 1923.

Уточнения находятся в письме Л. К. Чуковской Л. Пантелееву от 31.7. 1982 г.: «...я нисколько не нахожу этот абзац для К. И. (Чуковского – Е.Р.) оскорбительным. Он просто неверен. То ли Е. Л. (Евгений Львович Шварц – Е.Р.) запомнил, как дело было, то ли не осведомлен. Но все произошло не так, как он в этом абзаце пишет. Беда небольшая – соответственные куски из Дневника и писем Б. С. (Борис Степанович Житков – Е.Р.) опубликованы, воспоминания К. И. тоже. Так что вариант, неправильно рассказанный Е. Л., меня не трогает. Разве что за него: неточность мемуариста».²³¹

Наконец, после вступления в "Дневниках" Шварца мы видим героя – «небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба, но с длинными волосами, с острым носом, туманным взглядом». Отношения писателей обозначены как «равные»: «Я не ощущал его как старшего, потому что он сам себя так не понимал <...> Мы перешли на ты», и качества характера Житкова названы в связи с этим равенством, а сравнение подобрано из технической сферы, близкой Борису Степановичу: «...он был неуступчив, резок, смел, силен, – но не ощущалось в нем ни признака того окаменения, которое свойственно старшим <...> он был все время в движении, и заносило его иной раз, как машину на повороте, и попадал он не на тот путь» (II, 125).

Шварц описывает дружбу Житкова с Маршаком, которая «казалась нерушимой»: «Всюду появлялись они вместе – оба коротенькие, оба решительные и разительно непохожие друг на друга», – и их вдохновенный труд по созданию «тоненького детского журнала «Воробей»» изображает как очевидец: «...тесная кучка людей <...> титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала – не могу найти другого слова – очередной номер <...> ни Маршак, ни в особенности Житков не теряли высоты, не ослабляли напряжения <...> особенно Житков был вдохновенен и сурово праздничен, как старый боевой капитан в бою» (13.10.1952 – II, 126). На этот раз сравнение взято из другой области жизни героя – морской.

Вдохновение, восторг и ясность названы Шварцем основными чувствами и эпохи создания новой детской литературы, и обоих ее героев (ибо получается, что портрет

²³¹ Л.Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929-1987. – Письмо № 508.

Житкова в не меньшей степени относится к Маршаку): «...в те дни оба они были вдохновенны и, главное, ясны» (II, 126), Житков «с восторгом лез в драку», «они с честью дрались за настоящую детскую литературу», «борьба вдохновляла их» (14.10.1952 – II,127). Среди характеристик Житкова названы также способность к «убийственной» насмешке (II,126), ненависть к фальши и способность «кусаться», которую Шварц всегда считал отрицательным качеством²³², но в описании его теперешнего героя она таковой не выглядит: Житков «держал людей, которых считал чужими, в страхе. Сразу угадывалось: этот кусается» (II,127).

Рассказывать о ссоре Житкова с Маршаком Шварцу «не хочется»: «И тяжело, и очень сложно, и темно» (15.10.1952 – II, 128). Он отступает, рассказывая о тогдашней ситуации в детской литературе, приводя в пояснение нрава Житкова эпизод выступления в Педагогическом институте имени Герцена и его собственное объяснение былых невзгод «превратностями характера» (18.10.1952 – II, 130; это выражение Житкова Шварц потом часто использует в "Дневниках"). Саму ссору описывает он в терминах военных: «...осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости», и снова объясняет, что «и Житков и Маршак были несмирные люди. И уж слишком готовые к бою всегда, при любых обстоятельствах» (16.10.1952 – II,128).

Надо обратить внимание на то, что во всех этих обобщениях Житков и Маршак выступают вместе, и как бы исподволь проявляется у Шварца, наряду с объяснением их «непримиримости и нетерпимости», понимание, что оба они являлись «нашими учителями» (II, 128). Это признание удивительно, т.к. Житков, рано умерший (в 1938 г.), не имел в официальном литературоведении высокого «ранга», его роль в литературе – детский писатель – определялась без учета не опубликованного полностью (до 1999 г.) романа «Виктор Вавич», Шварц же явно пишет о нем как о классике.²³³ И нельзя понять, на чьей он стороне в описании ссоры, т.к. приводит он оправдания в пользу обоих, называя главным виновником расхождения своего «демонического» (II,131) друга-врага Николая Олейникова, чей портрет включен в рассказ.

²³² Ср., напр., с портретами Чуковского или И. В. Карнаухова (ТК, 207).

²³³ Эту точку зрения разделяла с ним в 1950-х гг., пожалуй, только Л. К. Чуковская, см. в ее кн.: Борис Житков: Критико-биографический очерк. М., 1955. О том же пишет в своей вступит. статье к «Мемуарам» Шварца Лев Лосев – указ. изд., с. 23.

Шварц размышляет о характере Житкова и в более широком контексте – относя его особенности к национальным чертам: «...Борис со всем анархическим, российским недоверием к действию...» (20.10.1952 – II,131), «...угловатый, анархический Житков, русский из русских...» (22.10.1952 – II,132), «Это был прирожденный ересиарх...» (23.10.1952 – II,133)²³⁴. «Проповедничество» Житкова было направлено против «внутренней нечестности, кокетства, ломания, трусости, несамостоятельности» (II, 133). Он предпочитал скрипку роялю за трудность, сердился на Чехова за готовый образ: «Офицер в белом кителе», вместо нового года отмечал весеннее равноденствие, – но системы страстной своей веры Житков не формулировал. В этом Шварц снова сравнивает его с Маршаком: «И Маршак говорил и проповедовал непонятно, но куда менее угловато, менее нетерпимо, и, главное, менее деспотично. «Борис все хочет поставить на ребро», - говорил часто он с горечью» (23.10.1952 – II,134).

На следующих страницах рассказано, что Шварц «отошел и от Маршака, и от Житкова», от последнего потому, что «ненависть и ядоиспускание <...> стали уж черт знает какими» (27.10.1952 – II,136). Своим рассказом Е.Л. создает впечатление, что именно этот яд отравил жизнь Житкова: сначала он назвал Елену Данько ведьмой, потом развелся с женой, заболевшей психически (после чего последовало судебное дело и вызов Шварца к следователю как свидетеля, в результате – «Дом Житковых умер» - II,136), а однажды сообщил, что видел черта, т.е. «получил повестку с того света» (29.10.1952 – II,138) и, действительно, смертельно заболел. Но автор, стараясь создать правдивый портрет, не забывает ни о том, что Житков «бывал совсем добр и совсем прост» (II,132), ни о его радости гостям – «это далеко не такой частый дар» – и «отчаянном нетерпении», заставлявшем встречать их на улице (II, 133), ни о потрясающем даре рассказчика («Борис рассказывает о своих путешествиях так, что его воспоминания становятся как бы и моими» - II, 134).

Последний период жизни Житкова Шварц знаменательно называет «послемаршаковским» и пишет о том, чего не хватало таланту писателя: «Взрывчатая сила Бориса помогала ему писать, но мешала организовывать и строить» (29.10.1952 – II,137). Заключение портрета, естественно, подводит итоги, в которые включается не только Житков, но и все «мы» – автор, Маршак, Олейников, Хармс, – а также время, важный

²³⁴ См. также запись от 28 мая 1956 г.: «...Житков, Гарин, Олейников, Хармс (отчасти) доказали мне с несомненностью, что деспотизм – неизбежная национальная особенность наших крупных людей» (ТК, 423).

герой любых воспоминаний, и в особой степени шварцевских: *«Так вот и шел он (Житков – Е.Р.) по жизни, коротенький, сбитый, как каменный, отчаянно улыбаясь, все нарываясь на драку, но верно держась друзей <...> Да, так вот и шли мы, понимая и не понимая, что ждет нас впереди. И Борис рядом как равный, а вместе с тем и как старший. И в тумане, в дорожной суете, раздражаясь и бранясь по-соседски, видя друг друга слишком близко, мы угадывали его силу все-таки и чувствовали благородство этой силы»* (II,138).

Известная метафора жизни как дороги оживает у Шварца по-новому – он пишет о многих, идущих по этой дороге *вместе*, считая их ссоры соседскими. И уже написав о смерти Житкова, автор добавляет соображения о его «угловатой судьбе» и снова объединяет его имя с «нами»: *«Он был сильнее нас, но жил в движении, как мы, и мы любили его за это»* (30.10.1952 – II,139).

Впечатления от известия о смерти Житкова записаны Шварцем дважды: сначала о неожиданной обиде (*«Обиделся на то, что он умер, – это не шло ему, его вечной подвижности и упрямой жизнелюбительности. Обиделся на собственную глупость, вечную нерадивость в дружбе»*), о похоронах, подобающих *«большому человеку»* (II, 138); затем, через день – о воображаемом концерте, в котором участвовало море: *«И я стал дирижировать оркестром, играющим музыку памяти Житкова <...> музыка звучала неясно, но значительно <...> Полное молчание на два такта – и новая длинная-длинная музыкальная фраза, что меня очень трогало. Черное море, столь близкое Житкову, определяло душевное состояние, посвященное его памяти»* (1.11.1952 – II,140). И дважды – в начале и в конце записей (10 и 30 октября 1952 г.) – сказано Шварцем, что Житков занимал большое место в его жизни, *«встречался я с ним или нет. Как многие сильные люди, он влиял и на дело, и на близких кроме всего прочего самым фактом своего существования»*. Без Бориса Житкова *«в мире моем стало пустынное»* (II, 138).

* * *

Три портрета трех известных писателей, созданные Шварцем, не могут назваться ни апологетическими, ни разоблачительными – они правдивы (насколько это вообще возможно) и окрашены личными чувствами автора, причем в двух временах – в воссоздаваемом прошлом и в настоящем. Из троих двое – Маршак и Житков, с которыми он был на «ты» – ближе ему, чем Чуковский, но наиболее литературно отделанным и психологически глубоким кажется именно портрет Чуковского. Портрет Маршака

наименее спорен, т.к. Шварц всегда признает его роль учителя в своей жизни²³⁵ и часто ссылается на его оценки, что же касается портрета Житкова, то он подробнее других описывает не только героя, но и художественное поколение, и время – необыкновенные 1920-е в Петрограде-Ленинграде.

«Московская телефонная книжка»

«Московская телефонная книжка» меньше по объему, чем ленинградская (всего 47 страниц из 551, записи делались с 26 августа по 11 октября 1956 г.), и можно попытаться охватить все ее основные темы.

Еще на последней странице ленинградской части 25 августа Шварц делает «переходную» запись о значении Москвы в его жизни, возвращаясь к юности: *«Этот город с первой встречи в 13 году принял меня сурово <...> огромное, неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще – жить <...> И уехал, полный ужаса перед Москвой»* (ТК, 510-511).

Впрочем, Шварц ошибается – первая встреча с городом произошла в 1903 году, а говорили *«с глубоким, искренним убеждением»* об обеих столицах, *«причем о Москве ласковее»*, в его семье и семьях знакомых часто. В результате совсем ребенком – *«не помню, с каких лет»* – Женя *«проникся уважением к славе, к Москве, к Художественному театру»* (7.9.1950 – I, 54). Находящаяся в оппозиции к правительственному Петербургу Москва в конце XIX – начале XX вв. была ближе провинциальной интеллигенции, к которой принадлежала семья писателя. Ближе Москва была и территориально, и национально, т. к. в детстве Шварц ощущал себя больше частью русской, рязанской, семьи матери, чем южной, екатеринодарской, еврейской семьи отца.

Как раз по дороге к родственникам матери почти семилетний Женя Шварц впервые увидел Москву: *«И я наконец увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни»* (I, 65), но запомнилось в первый раз немного: *«...трубы, церкви, бульжная мостовая <...> перегруженный извозчик, окружной суд»* (16.10.1950 – I, 66).

²³⁵ См. также запись от 25 мая 1956 г: «Встреча с Маршаком определила окончательно дорогу» (ТК, 421).

В детстве Москва для Шварца – это нечто «совершенно прекрасное и всеми людьми признанное» (11.12.1950 – I, 86), «прекрасный, но недоступный город» (20.6.1951 – I, 199), «чудесная, недоступная Москва» (3.7.1951 – I, 207). В этот «недоступный» город приезжает в 1913 г. Евгений, чтобы готовиться к поступлению в университет, но Москва оказывается чужой, грязной и равнодушной, она разочаровывает: «Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших. Где сорок сороков? Бедные <...> церквушки теряются среди грязных домов» (22.8.1952 – I, 452). В дневниках за 1952 г. этот период тоскливой жизни в городе, кажущемся враждебным, рассказан подробно²³⁶, но и в «Телефонной книжке» Шварц снова возвращается к тогдашнему ощущению Москвы.

С 1921 года для Шварца «Петроград стал <...> родным городом» (312), но, конечно, он бывал и в Москве, не живя там подолгу (потому и «Московская телефонная книжка» не так объемна). Роль Москвы в жизни страны также изменилась: с 1918 г. она вновь стала столицей, следовательно, многие решения исходили теперь из нее, там происходили съезды писателей и совещания, и отношение Шварца к Москве постепенно сложилось в настороженно-опасливое. Оно зафиксировано в «Телефонной книжке»: до войны – «Теперь я уезжал с Октябрьского вокзала в Москву, полный надежд, и возвращался часто в горести» (312-313), после войны – «и опять ездил я в Москву, полный надежд, и возвращался то опустошенный, то обожженный, а после драматургического пленума в 49 году – в мистическом ужасе» (315), – и как вывод: «в Москве мне, как правило, не везло» (515).

Все же в столице было много знакомых и друзей, и рассказывая о Данииле Данине и Софье_Разумовской²³⁷, Шварц описывает обычный московский вечер в их «чисто московском двухэтажном доме» (546), «один из тех, когда начинает тебе чудиться, что в Москве больше близких людей, чем в Ленинграде» (550): «Друзья рады мне <...> стол накрыт, графин, рюмки – все-таки праздник! <...> Приходит часто Маргарита Алигер <...> и тут угадываешь ты существо высокой породы», «обычно является сюда и Лева Левин»,²³⁸ бывают Леонид Малюгин, «надежный и любопытно говорящий, даже когда неправ», Александр Крон с женой, и к обоим отнесен автором эпитет «привлекательный» (549-550).

²³⁶ См.: I, 472, 504-506 и др.

²³⁷ Данин (наст. фам. – Плотке) Даниил Семенович (1914-2000) – писатель, критик, сценарист; Разумовская Софья Дмитриевна (1904-1981) – редактор московского детского отдела Госиздата, журнала «Знамя», жена Данина.

²³⁸ См. прим. 152. Левин часто упоминается в дневниках Шварца за 1954 г. (II, 245, 247, 259, 261).

Приятные люди, интересные разговоры и ощущение праздника – таков московский вечер, хотя приезжал Шварц, в основном, по делам: утвердить сценарий в Реперткоме, встретиться с редакторами и цензорами, присутствовать на репетициях. Поэтому в «Московской телефонной книжке» большинство фамилий принадлежит литературному, театральному и киномиру. Но первая же из них – Ираклий Андроников – выбивается из всех определений, сам автор не знает, какое «наименование» дать герою: *«Актер? Нет. Писатель? Нет. И вместе с тем он был и то, и другое, и нечто новое <...> Отсутствие специальности превратилось в его специальность»* (515).

На шести страницах Шварц рассказывает о своем давнем, с петроградских 1920-х гг., знакомстве с И. Андрониковым и его братом Элевтером, упоминает их родителей, дядю, но главное, подробно описывает, воскрешая их, сыгранные братьями или одним Ираклием сценки: кучер и его лошадь, оркестр и дирижер, профессор Щерба, старик-гипнотизер. Рассказ аналитичен – автор хочет понять своего героя, и его портрет дан в развитии, на фоне времени (которое, вероятно, и является основным персонажем как «Телефонной книжки», так и всех «Дневников»). В 1920-е гг. *«в Ираклии трудно было обнаружить единое целое. Он все менял форму, струился, как туман или дым. От этого трудно было схватить его отношение к окружающему»* (512). Поступив секретарем в детский журнал «Еж», Андроников оказался коллегой Шварца, *«и тут я увидел, как, словно в искупление за легкость в одном, тяжел он в другом <...> Не мог он двух слов связать»* (512-513).

Дальнейшие горести (арест И. Андроникова, разгром редакции Маршака) упомянуты глухо: *«После ряда злоключений перебрался Ираклий в Москву»*, – и вслед за этим линия судьбы идет вверх: *«Его талант все развивался <...> Ираклий приобрел вес. Женился. Родилась у него дочка <...> И ко второй половине тридцатых годов семья их казалась мне привлекательной <...> Ираклий становился все веселее и нужнее. Правда, он стал заниматься усердно литературоведческой работой...»* (514-515). Напомню, что к литературоведам Шварц относился с подозрением, полагая, что для некоторых из них «ведение» важнее, чем литература, но «сила» Андроникова *«была не в специальности, а в отсутствии наименования»* (515). И Шварц развертывает метафору литературно-театральной среды, в которой вращались и автор, и герой его портрета, и где персонажи страшных сказок не являются еще самым ужасным: *«В суровую, свирепую, полную упырей и озлобленных неудачников среду Ираклий внес вдруг вдохновение, легкость. Свободно входил он в разбойничьи пещеры и змеиные норы, обращаясь с закоснелыми грешниками, как со славными парнями...»* (515).

Карьера Андроникова до войны заслуживает не только оценки «хорошо», но и – что более важно для Шварца – «чисто»: «...ощущение, что дела <...> хороши и чисты, утвердилось», поэтому именно в его доме драматург «отходил от всех уколов и путаницы» (515), которые сопровождали его в Москве. Но после войны начались изменения, которые не нравятся Шварцу: «...движение к определенному и прочному положению <...> В тяжелые времена бросался на своих <...> Что его изменило? Упыри и разбойники отравили его наконец? Выступило ли на поверхность то, что всегда было в нем? Возраст пришел?» (516). Грустные эти размышления обрываются словами: «Не хочется об этом ни рассказывать, ни думать» – и констатацией: «...он отошел в сторону» (516).

И все же портрет Андроникова заканчивается другой нотой – восторженным описанием его устных рассказов, когда «выступает перед тобой вся жизнь, во всем ее блеске» (516), и слушатели «чувствовали время <...> И забывали, с каким печальным упорством Ираклий рвется в табель о рангах» (517). Хотя ни о ком больше в «Московской телефонной книжке» не рассказано так подробно и ярко, как об Андроникове, шварцевский портрет неоднозначен: автору хочется остановиться на восхищении и удивлении героем, но проверка по важнейшей для него линии совести не позволяет²³⁹.

Фамилии других персонажей, как и положено в записной книжке, идут по алфавиту, но здесь для не любимых Шварцем целей анализа делятся на группы – связанные с литературой, театром и кино. В литературной группе окажутся очень разные имена, объединенные внешним признаком – московской пропиской. За талант автор выделяет очень немногих (как и в «Ленинградской книжке») – Маргариту Алигер («Спасает талант» (518)), Александра Крона («Он из материала благородного <...> он талантлив» (531-532)), Даниила Данина («Умен и талантлив» (547)) и Фриду Вигдорову, пишущую «книги с той чистотой душевной, с которой писали бы дети, если бы умели» (553). Изображения Данина

²³⁹ В воспоминаниях В. Кетлинской рассказано, что именно Шварц пришел к ней сообщить о том, что И. Андроникова "вычистили" за "непролетарское происхождение" и попросить вмешаться. – См.: Мы знали Евгения Шварца. – С.90-91.

В статье А. Семенова "Право на донос" утверждается, что "подробные показания Ираклия Андроникова, написанные им собственноручно в 1931 и 1932 годах, надо полагать, способствовали тому, что поэты (Д.Хармс, А.Введенский, А. Туфанов – Е.Р.) первоначально получили реальные сроки заключения. В частности, Андроников дал на своих знакомых такие показания: «...Антисоветская группа детских писателей, охарактеризованная мною выше, сознательно стремилась различными обходными путями протащить антисоветские идеи в детскую литературу, используя для этих целей детский сектор Леногиза... Идейная близость Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского с группой Хармса-Введенского выражалась в чтении друг другу своих новых стихов, обычно в уединенной обстановке, в разговорах, носивших подчас интимный характер, в обмене впечатлениями и мнениями, заставлявшими меня думать об общности интересов и идейной близости этих людей». (Электр. ресурс: <http://gubernia.pskovregion.org/society/pravo-na-donos/> Дата обращения 4.5.2019).

и Вигдоровой – части «двойных» портретов, когда муж и жена контрастно описываются Шварцем: внешняя и душевная прелесть Вигдоровой рядом с *«одним из самых мрачных шутников»*, *«чистоплотной, брезгливой, деликатной душой»* ее мужа, Александра Борисовича Раскина²⁴⁰; и Даниил Данин, писатель с *«врожденным»* чувством *«художественной реальности»* (547), в паре с женой, редактором, Тусей Разумовской, которая, по мнению автора, *«равнодушна к литературе как к явлению»* (548).

Об Алигер и Кроне Шварц ведет речь дважды – по алфавиту и при описании московского вечера. Внешность Алигер не кажется привлекательной: *«худенькая», «дурная кожа лица»,* – но *«внушает уважение спокойная манера держаться, тихий голос. И неожиданный юмор»*, – и самое главное: *«Она много думала. Понимает суть дела»* (517-518). Не очень ясно, о чем это – о сути литературного творчества? О литературной жизни? О жизни в СССР? Определение «трудные времена», которые сменяли друг друга, встречается очень часто в «Телефонной книжке», и одним из главных человеческих качеств выступает для Шварца именно способность не терять себя в такие времена. Об Алигер сказано: *«Изуродована одиночеством, свирепыми погромами в Союзе писателей»* (518)²⁴¹, но несмотря на то, что *«трудная жизнь притушила и затуманила огонь, посланный ей неведомо откуда»*, его *«сияние» «угадываешь»* (550). И этот «огонь» таланта – сердцевина портрета, сдержанного по тональности и заканчивающегося вопросом о внутренней жизни поэтессы: *«Да и есть ли желание открывать то, что никто сейчас не высказывает?»* (518).

Портреты талантливых людей вызывают раздумья. Александр Крон – *«хороший человек»*, но Шварц анализирует отношения писателя со временем и творчеством: *«...не вывихнуто ли у него зрение (снова метафора, ведущая к искаленным Драконом душам – Е.Р.), не затуманено ли сознание?»* (531), – и констатирует: *«У него не было (или выветрилось, или вышибло из него) той неподкупной трезвости, что определяет художника большого масштаба»* (532). С критерием «трезвости» связаны и шварцевские оценки пьес Крона в сравнении с *«откровенно плохими»*, где *«действуют фигуры из дерева, картона, жести. А у Крона идет живой человек с фанерным туловищем...»*, но Шварц уверен, что писатель «талантлив»,

²⁴⁰ Раскин Александр Борисович (1914-1971) – советский писатель-сатирик, сценарист. В 1940-е гг. сотрудник журн. "Крокодил", по его сценарию создан фильм "Весна" (1947), автор популярных книг для детей "Как папа был маленьким" (1961) и др.

²⁴¹ Муж М. Алигер погиб во время войны. В 1946 г. была подвергнута критике поэма «Твоя победа» за обращение к теме судьбы еврейского народа, в дальнейшем она перепечатывалась с изъятием фрагмента, посвященного еврейской теме, который в 1940-50-е гг. распространялся рукописно и служил уликой на процессах "еврейских националистов". В 1955 г. состоялась в редколлегии "оттепельного" альманаха "Литературная Москва", который также подвергся разгрому.

например, в *«Глубокой разведке»* есть целые сцены с живыми людьми. И в последней пьесе» (532).²⁴² По поводу создающегося романа Крона "Дом и корабль" (закончен в 1964 г.) мемуарист замечает: *«Если перешагнет через себя, то напишет. Если научится смотреть не через очки, которые напялило время на его здоровые глаза»* (532). И так в портрете писателя снова возникает время как определитель поведения и творчества.

В портретах друзей – Леонида Малюгина²⁴³ и Евгения Рысса – Шварц выделяет скорее их человеческие качества, чем писательские.

Малюгин – *«открыт, даже грубоват, прям <...> Он был живой человек, не боящийся боли и вступающий в драку естественно <...> природный человек переднего края <...> Он был другом деятельным <...> и в трудные времена остался <...> прежним...»* (538-541). Интересно, что оценки самой известной пьесы Малюгина «Старые друзья» Шварц не дает, упоминая только, что за нее автор получил Сталинскую премию, но описывает отношение своего друга, в те времена завлита БДТ, к театру: *«Он <...> считал себя ответственным за всех»* (540), – и к чужому творчеству: *«Драгоценно было его отношение к моей пьесе <...> Он понимал, что если пьеса получится, то это хорошо»* (540). Особенно важно Шварцу, что Малюгин *«нисколько не изменился»* (540) ни после награждения, ни после *«рокового пленума по драматургии»* в декабре 1948 г., когда *«он был избит с обычной масштабностью»* (541), и в связи с этим событием рассказано о его преданности семье. А заканчивая свой рассказ, Шварц с удовольствием замечает: *«Сейчас он снова на подъеме»* (541).

Еще более близок автору Евгений Рысс, *«трудный предмет для описания»*: *«Он рассказывает хорошо, без претензий и всегда правдиво, как и подобает человеку, занимающемуся литературой <...> Его интересует самый мир»* (554). Шварц относится к нему как старший (Рысс младше его на 12 лет), пишет о его лени (грехе, которому сам был не чужд): *«В самом крайнем случае принимается он за работу <...> он спешит скорее, скорее отделаться <...> И с грехом пополам, отдав десятую долю своих сил, сводит концы с концами, выпускает вполне сносную книжку»* (555-556), – и заключает рассказ тем, что *«Женя как будто выбирается на дорогу, более подходящую взрослому человеку»* (556). Но с уважением упомянуто, что Рысс *«в самые трудные годы выступал резко и прямо»* (556), во время блокады Ленинграда, служа в ТАСС, каждый день отправлялся на фронт, а, главное, был настоящим другом.

²⁴² Имеется в виду пьеса А. Крона «Второе дыхание» (редакция 1956 г.).

²⁴³ Малюгин Леонид Антонович (1909 – 1968) – писатель, литературовед, зав. лит. частью Ленинградского Большого драматического театра (БДТ) в годы войны.

Из писателей-москвичей названы еще некоторые близкие или дальние знакомые. Александра Бруштейн – ее Шварц критикует за *«врожденное непонимание» «фактуры»* литературы и театра и при этом восхищается ею самой (*«весела, остроумна и вечно в действии»*) и прелестью ее писем, говоря, что *«место, которое занимает она в литературе, значительно»* (518). Милочка Давидович,²⁴⁴ *«женщина добрая, веселая»*, пишущая для эстрады, поэтому она *«говорит, все время стараясь подобрать слова поострее...»* (530-531); Николай Жданов²⁴⁵, который *«работает не без таланта, но в крайнем случае»* (531); Исидор Шток²⁴⁶ определен как *«человек занятный, но все дальше и дальше отодвигающийся»* (558); Анне Кальма,²⁴⁷ детской писательнице, которую автор *«мало знает»* (536), посвящены неожиданно пространные рассуждения.

Кальма живет *«с великолепным аппетитом»*, ее квартира, *«небольшая, на московский лад»*, *«убранная с удовольствием»* (534), в ней подают рыбу, запеченную в традиционных формах в виде раковин – кокиль, но автору кажется, что рыбу он ест из пепельницы, в которые превратились кокили в советскую эпоху. И этот привкус сопровождает весь рассказ о детских книжках Кальмы, которым только *«традиционная форма помогала соблюсти приличие»* (535), и еще дважды эпитет *«традиционный»* в отрицательном его смысле появляется в портрете. После чего возникают два полярно противоположных варианта видения героини: *«она добрая баба, избалованная обеспеченной столичной жизнью, не приносящая зла»* или *«все это скрывает нечто трагическое, немислимое, но реально существующее. Наподобие романов Сю»*, – и точка ставится сомнительная: *«Разбери их там, в Москве»* (535-536). Но последнее предложение трагично и вновь возвращает нас к пережитому времени: *«Впрочем, все мы больны манией преследования»* (536).

Противоречив портрет Тамары Григорьевны Габбе, которую Шварц хорошо знал по редакционной работе в Ленинграде: *«С одной стороны – человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение <...> С другой же – ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака»* (520).

²⁴⁴ Давидович Людмила Наумовна (1900-1986) – советская поэтесса, актриса, автор пьес, реприз. Писала для "Гео-джаза" Леонида Утесова, Ленингр. мюзик-холла, Мироновой и Менакера и др.

²⁴⁵ Жданов Николай Гаврилович (1909-1980) – советский писатель, критик. Во время войны печатал рассказы о героизме советских людей, автор повестей для детей, книги "Дело жизни" (1953) и др.

²⁴⁶ Шток Исидор Владимирович (1908-1980) – советский драматург, сценарист, актер. Служил актером Передвижного театра Пролеткульта в Москве, автор пьес "Комсомол как таковой" (1927), "Гастелло" (1947), "Божественная комедия" (1961), "Ноев ковчег" (1968) и многих др.

²⁴⁷ Кальма Н. (наст. имя Анна Иосифовна Кальманок) (1908-1988) – автор книг для детей.

Уверенность в правоте и в праве на суд, *«вечное несчастье вечных первых учеников»* (520), вызывают в авторе *«чувство внутреннего протеста»* (521) и сравнение с суждениями самого Маршака, который *«был неясен, но понятен. Он намекал – и это было точно. А Габбе говорила точно, однако непонятно»* (520).

Смягчают отношения испытания героини: после ареста в 1937 году и освобождения *«встретились мы как бы заново»*, а в блокадном Ленинграде *«душа ее, в обычные дни сжатая в кулачок, готовая к нападению <...> раскрылась»* (521). Шварц отмечает и *«деятельную натуру»* Габбе, решившей читать детям в бомбоубежище, и то, что она оценивала читаемые книги *«убедительно»*, без *«ученической уверенности»* (521). К сожалению, заканчивается запись возвращением прежнего чувства протеста: *«Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок»* (521).²⁴⁸

Именно в «телефонной» записи о Тамаре Григорьевне сказано Шварцем то, что он вывел, составляя свою «Телефонную книжку»: *«С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым»* (521), и этим «непреодолимым» в данном случае оказалась излишняя определенность в суждениях о литературе.

Составляя свои портреты, Шварц прекрасно понимает и ограниченность проникновения в чужую душу, особенно «замкнутую и осторожную», иногда заканчивая свою запись вопросом, например, по поводу Льва Ильича Левина, который в молодости *«как будто любит литературу»*: *«Что он думает, что он делает, когда остается наедине с собой?»* (538). Довольно часто мемуарист вовсе отказывается от портрета или потому, что это *«слишком близкий знакомый»*, как Николай Чуковский, Каверины, или, наоборот, недостаточно хорошо знакомый, как Илья Эренбург, о котором написано только: *«Трудно определим»* и *«Это явление сложное»* (558).

Особняком стоит запись о Сергее Городецком, казалось бы, вполне чуждом Шварцу, тем не менее его телефон и портрет оказались в «Телефонной книжке», но последний выдержан в ироническом тоне. Поэт, прославившийся в 1907 г. своими «языческими стихами», затем неоднократно менял литературное и политическое направление: *«Его ничем не возьмешь. Жил при царе. И «смутное время» ему не повредило. И в конце тридцатых*

²⁴⁸ Ср. публикацию Л. Чуковской «Памяти Тамары Григорьевны Габбе» («Знамя», 2001, №5) и приведенные в предисловии Е. Ц. Чуковской письма К. И. Чуковского и С. Маршака.

годов нашел свое место – сочинил заново либретто "Ивана Сусанина"...» (527). Шварц сообщает и о «тайных заслугах» Городецкого – упорных слухах о его доносе на то, что во время войны у Ахматовой в Ташкенте «ночуют без прописки», имея в виду дежурство Н.Я. Мандельштам у постели больной брюшным тифом поэтессы: «Вот какую славу заработал себе под старость поэт, о котором некогда с настоящим уважением писал Блок» (527).

Внешность Сергея Митрофановича автор, познакомившийся с ним в эвакуации, описывает с опорой на шаржи 1910-х гг.: «Лицо хорошо знакомое по карикатурам. Маленькие глазки и крупный красноватый нос. Длинноногий», – и добавляет собственные впечатления от общения: «Говор чуть шепелявый. Суевливость в приемах. Склонность к поучениям. Во всех областях знания – непреодолим» (527-528). Но самое главное – творчество, а стихи Городецкого вызывают у Шварца оценку «мучительно» и удивление, что «человек, некогда владевший стихом <...> мог потерять в суеве простой версификаторский навык» (529).

Приводится только один пример, да и то пересказом содержания, зато множество поучений «неуязвимо, непробиваемо» поэта, которого «нельзя было убедить», когда он утверждал, что «на Памире несомненно жило племя славянского происхождения» или как нужно лечить малярию, шпиговать фазана, выбирать вино – «Он глубоко уважал все из него исходящее» (528). И место жительства Городецкого своеобразно связано с ним самим: «Он даже проживает в бывших палатах Годунова – и хоть бы что», и «по странному совпадению» стоящих рядом телефонов «имеет нечто общее» не с живым существом, а с помпезной гостиницей «Ленинград»: «...многозначительные пустые пространства и полное, почти, отсутствие полезной площади» (527).

Таков известный поэт, которого страшное время превратило в хамелеона.

И, наконец, надо упомянуть тех, из-за кого Шварц приезжал в Москву для «беспокойной командировочной жизни» – редакторов и чиновников, которые кажутся ему «призрачными людьми» (532). Например, Галина Владимировна Карпенко, редактор Детгиза, которая «дело свое любит», но «понимает его приблизительно» (532) или Игорь Чекин,²⁴⁹ писавший «когда-то пьесы», но теперь «чиновник, и считает это нормой» (558).

Вторая группа персонажей «Телефонной книжки» – люди, связанные с театром и кино. Шварц – драматург, но современный советский театр пугает его забвением своей природы, и он, по поводу Театра имени М. Н. Ермоловой, создает замечательную метафору, опять

²⁴⁹ Чекин Игорь Вячеславович (1908-1970) – писатель, обществ. деятель, начальник сценарного отдела Главн. управления по производству фильмов Мин-ва культуры СССР.

связанную с «Драконом»: *«У меня такое чувство, что раскормили мы тугоподвижных, прожорливых, допотопных, никому не нужных чудовищ <...> В теперешнем театре чего-чего только нет! И чешуя. И когти. И желудок. И глазки, которые видят добычу. И огромное тело с огромным хвостом <...> И это чудовище поглотило театр в прежнем его легком и праздничном состоянии»* (531).

В портрете главного режиссера Ермоловского театра, Андрея Михайловича Лобанова²⁵⁰, Шварц развивает метафору, вспоминая одновременно, что театр до войны *«был еще живым существом»*, а сейчас: *«Головной мозг у чудовища почти отсутствует, спинной же, угадывающий законы сегодняшнего дня – могуч»* (536), *«У него было лицо некогда. И оно преобразалось ото дня ко дню в морду»* (537). Режиссер такого театра – *«фигура трагическая. Сегодня процветающая, завтра избиваемая...»* (536), потому что *«Лобанов считался талантливым – каково это было другим?»* (537)

Театральную атмосферу Шварц также изображает отчасти связанной с метафорой дракона: в ней, *«оранжерейной»* поначалу, затем просто *«теплой и сырой»*, *«могут произрастать не одни цветы»* (536), ведь и *«чудовище, проглотившее Ермоловский театр»* (537), *«завелось от сырости и грязи»* (536). В этой атмосфере *«чувствуется отравленность»*, которой характеризуются мимоходом и Н. П. Хмелев²⁵¹, возглавлявший театр ранее (*«Хмелев ростом, стройностью, значительностью выражения, тяжелым взглядом черных глаз внушал уважение. Но и в нем чувствовалась отравленность»* (536)), и Лобанов, и Ю. А. Завадский²⁵², говорящие на некоем *«жаргоне, заменявшем живой язык, тоже родившийся в*

²⁵⁰ Лобанов А.М. (1900-1959) – советский театр. режиссер и педагог. Нар. артист РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии 2 степени (1946). Учился в различных театр. студиях, что дало ему возможность видеть режиссерскую работу Е. Б. Вахтангова и Л. М. Леонидова, участвовать в этюдах с Ф. И. Шаляпиным и А. Д. Диким. Преподавал в Студии Ю. А. Завадского, одновременно будучи актером Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, работал в театре-студии Р. Симонова, ставил спектакли в др. моск. театрах. С 1937 г. режиссер моск. Театра революции, в январе 1946 г. после неожиданной смерти Н. П. Хмелева назначен худож. руководителем театра им. Ермоловой. С 1933 г. преподавал в ГИТИСе, профессор, среди учеников – Георгий Товстоногов.

²⁵¹ Хмелев Николай Павлович (1901-1945) – советский актер, театр. режиссер, педагог. Нар. артист СССР (1937), лауреат трех Сталинских премий 1 степени (1941, 1942, 1946). Один из ярчайших представителей так называемого «второго поколения» артистов МХАТа; среди лучших его ролей – царь Федор Иоаннович в трагедии А. К. Толстого, Каренин в «Анне Карениной», Тузенбах в «Трех сестрах» А. П. Чехова. В 1932 г. создал театр-студию, в 1937 г. влившись в Моск. драм. театр им. М. Н. Ермоловой, худож. руководителем которого был в 1937-45 гг. В 1943-45 гг. был худож. руководителем МХАТа. Умер 1 ноября 1945 г. во время генеральной репетиции спектакля «Трудные годы» А. Н. Толстого, в котором исполнял роль Ивана Грозного.

²⁵² Завадский Юрий Александрович (1894-1977) – театр. режиссер, актер и педагог. Главн. режиссер Театра-студии Юрия Завадского, Центр. театра Красной Армии, Ростовского театра драмы им. Горького, Театра им. Моссовета (1940-1977). Нар. Артист СССР (1948), лауреат двух Сталинских премий (1946, 1951) и Ленинской премии (1965).

этой тепличной атмосфере» (536). Случаются там и по-настоящему тяжелые события, например, когда *«выросший в той же атмосфере»* Завадский *«лихо дал брату своему подножку»* (537; имеется в виду статья Ю. Завадского в «Правде» с критикой Ермоловского театра), а потом *«описал с глубоким сочувствием печальное состояние, в котором Лобанов находится»* (538). В сущности, весь портрет режиссера является рассказом не о нем лично, а о театре-чудовище.

Есть в книге и другой театр, служение в котором сравнивается с монастырским, – кукольный, где *«человек показывает самое лучшее, самое артистичное в нем»* (543). Его главный режиссер, Сергей Образцов, *«явление несомненно положительное»*, хотя с неким «но», в конце портрета формулируемом как *«чувство предела»* (545). Противоречия ощущаются уже в описании внешности и поведения, в котором не одобрены искусственные черты: *«...лимфатический, чуть обрюзгий, моложавый, светлый по отсутствию красящих веществ, с голосом разработанно приятным, с простотой виртуозно отделанной и рассчитанной»* (542).

Шварц пишет о своей влюбленности в образцовские спектакли «Король-олень», «Лампа Аладдина», о *«богатой духовной жизни»* театра (543), – и пытается понять *«корни внутреннего <...> протеста, не дающего до конца принять Образцова»* (544). Он ищет их, описывая *«педагогические, добродетельные»* мысли режиссера, его жену, Ольгу Александровну, *«не слишком добрую»*, квартиру, которая *«несколько походила на музей»*. Одновременно отмечает и *«внутреннюю воспитанность»* (544) Образцова, и его храброе поведение в деле С. Дрейдена²⁵³, и помощь «изо всех сил» Ольги Александровны жене Антона Шварца, и «творческое» отношение к квартире, и написанные книги – *«ничего, кроме хорошего, – и что-то несоизмеримое с моей достаточно легкой и покладистой душой»* (545).

Думается, что, судя по портретам коллег, душа Шварца не так «покладиста», как он пишет, что же касается описания знаменитого режиссера-кукольника, то в конце его появляется сравнение с осенним лесом – *«столько там богатства, что в первое время ты ошеломлен и покорен. А второе чувство – печальное <...> И от Образцова ты уж больше ничего не ждешь. Ясен тебе его потолок»* (545).

²⁵³ Критик и театровед С.Д. Дрейден (1905-1991) был репрессирован в 1949-54 гг.

Третий московский театр, описанный Шварцем – Вахтанговский, но портрет не персональный, а связанный с Александрой Исааковной Ремизовой²⁵⁴, пережившей вместе со всеми страшные времена, когда *«театр, чтобы жить, вынужден был, точнее говоря, согласился затоптать тщательно огонь, зажженный учителем. И дьявол с охотой занял то место, откуда был изгнан дух высокий и человеческий»* (551). Ремизова, *«похожая больше на учительницу, чем на актрису»* (550), *«работает в театре, не слишком понимая, во что он обратился»* (551).

Дальнейшее относится не только к театру, но к жизни в стране в то время, которое не отпускало Шварца, хотя он, казалось, формально не был «отмечен» им – не арестован, не сослан, члены семьи не пострадали. Но для него мучительно, когда *«то, что казалось неслыханной подлостью пять лет назад, сегодня становилось нормой <...> смотришь, ты уже и на доньшке, что и не страшно вовсе – все тут же рядышком, кто выжил. Было бы страшно, если бы погибали лучшие. Нет, все без разбора вдруг исчезали, будто бы их и не было»* (551). Вахтанговский же стал просто *«профессиональным театром с ясно ограниченными контурами»*, от «проповеди» основателя *«ничего и не осталось»*, и *«с одинаковым умением исполняются вещи не только разного качества, но исключаящие друг друга»* (552).

Возвращаясь к Ремизовой, мемуарист отмечает главное: она *«сохранила режиссерское дарование»* (551), *«но вместе с тем – это явление мало понятное мне»*, и дело не в *«странном свойстве»* Александры Исааковны, которая *«ничего не ест, словно привидение»*, а в вопросах: *«Где у нее <...> спрятаны воспоминания о страшном пути, что проделал театр <...> Как заставляет ее работать на себя тот темный дух, что овладел театром?»* (552) И тут же Шварц отмахивается от собственных вопросов, утверждая, что *«все гораздо проще. Что живет, то и живет <...> а что умерло, то исчезло с необыкновенной легкостью...»*, – и эти рассуждения относятся ко всем «уцелевшим»: *«Поэтому и живем мы все так спокойно, а возьмешься судить – запутаешься»*. Итог размышлений о героине портрета все же заключается вопросом, хотя и риторическим: *«За огромные общественные процессы что спрашивать с Александры Исааковны?»* (552).

Театральная среда представлена также С.Х. Гушанским,²⁵⁵ *«одним из многих беспокойных артистов»* (521), о котором сказано в похвалу, *«что у него в душе звучит всегда некоторая*

²⁵⁴ А. И. Ремизова (1905-1989) – актриса, режиссер, с 1920 г. – в труппе 3-й Студии МХАТ (с 1926 г. – Театр им. Е. Вахтангова).

²⁵⁵ Гушанский Семен Ханаанович (1904 -1981) – артист, режиссер, педагог, один из организаторов и худож. руководитель Моск. театра для детей в 1930-41 гг.

нота, для настройки» (523); З.А. Сажиным²⁵⁶, который «сохранил верность детскому театру», но «стал куда солидней» и «вряд ли от прежних лет осталось живое желание работать» (556-557); П.В. Цетнеровичем,²⁵⁷ «опустошенным до полного безразличия ко всему на свете, кроме состояния опьянения» (558).

Из «благороднейшей человеческой породы» «нянек, или повивальных бабок», «отдавших себя целиком данному виду искусства» (529-530) Шварц «со всей почтительностью и удивлением» (530) называет театроведа Софью Тихоновну Дунину,²⁵⁸ и ее главное качество – чувство справедливости, и Марию Исааковну Пукшанскую,²⁵⁹ «человека порядочного и серьезного» (546).

Театровед Алиса Акимовна Марголина²⁶⁰, которую автору «стыдно ругать» за тяжелый характер, т. к. с ним «держалась она всегда доброжелательно», перешла в другую «категорию», написав «вполне гладкую» повесть. Но литературная среда ничуть не лучше театральной, и «очень быстро повесть затоптали – Марголина человек незащищенный» (542).

Киномир представляют режиссер Александр Роу²⁶¹, киносценарист М. Большинцов и композитор К.А. Корчмарев.²⁶² Большинцов упомянут в связи с портретом его жены, Любочки, жизнь которой «шла непросто» (519). Роу, поставивший по сценарию Шварца фильм «Марья-искусница», возмущает драматурга «бесхитрым и бесстыдным подчинением <...> требованиям руководства» (554). Несмотря на то, что он «явление скорее положительное», Шварц уверен, что ставить сказки он не умеет – «все пышно, аллегорично, мучительно» (553).

С Корчмаревым Шварц был знаком недолго, но он заслужил упоминания, заявив драматургу о пьесе «Два клена»: «Эти места рассчитаны у вас на детей, а такие-то <...> – на взрослых» (533).

²⁵⁶ Сажин Зиновий Абрамович (1903-1968) – артист, педагог, работал в театрах для детей.

²⁵⁷ Цетнерович Павел Владиславович (1894 -1963) – артист, режиссер, в 1946-57 гг. главн. режиссер Моск. ТЮЗа.

²⁵⁸ С. Т. Дунина (1900-1976) – критик, редактор, театровед.

²⁵⁹ М.И. Пукшанская (1910-1994) – зав. Кабинетом детских театров Всесоюзного Театр. Общества (ВТО), позже руководитель научно-метод. отдела Центр. театра кукол.

²⁶⁰ А. А. Марголина (1908-1971) – писательница, критик, театровед, работала в Новом ТЮЗе.

²⁶¹ Александр Артурович Роу (1906-1973) – кинорежиссер.

²⁶² Климентий Аркадьевич Корчмарев (1899-1958) – композитор, лауреат Сталинской премии, написал музыку к спектаклю Моск. ТЮЗа по пьесе Шварца «Два клена».

И, наконец, А. А. Карягин, цензор Реперткома, один из тех, у кого *«на месте убеждений <...> сидит шут с рогами»*. При этом цензоры уверены, что *«принимают участие в работе театра»*, и говорят *«даже с любовью к делу»*, но *«с полным расхождением между сущностью своей и деятельностью»* (533), что возмущает и отталкивает Шварца.

Кроме людей, в «Телефонной книжке» есть "портреты" организаций. О театрах речь уже шла, осталась гостиница «Ленинград» – *«одно из самых зловещих знамений времени. Капище демона лжи»* (523). Эту мрачную характеристику гостиница, описание которой занимает три с половиной страницы, заслужила, наверное, своим несоответствием жизни обычных людей. Одна из знаменитых сталинских «высоток», она была построена в тяжелые послевоенные годы, 1949-53, и ее интерьер: *«холл наглой величины», «лестницы, непристойно широкие»*, львы у лестниц стоят, *«бесстыдно высунув языки»* – и даже лифтерша, *«помесь субретки с чиновником»*, с характерным московским аканьем – все вызывает у Шварца отторжение.

Такова Москва, с людьми, близкими литературе, но и с теми, кто близок только власти, с театрами и с чудовищами, поглотившими театр, с *«капищем демона лжи»* – московской гостиницей-высоткой, по иронии носящей имя "Ленинград".

О евреях и еврействе

Вероятно, разговор следует начать с биографии писателя. Его отец – Лев Борисович Шварц (1874-1940), студент-медик Казанского университета, еврей, крестился в православие 18(30) мая 1895 г., чтобы жениться на Марии Федоровне Шелковой (1875-1942), курсистке акушерских курсов. После крещения Лев Борисович стал писаться в документах Васильевичем, по имени восприемника, т.к. крестного отца по имени Борис не нашли, крестным стал студент Казанского Университета Василий Митрофанович Малков.²⁶³ Кстати, крещен был не только отец Шварца, но и – несколько ранее, в 1892 г. – его дед, мещанин местечка Пяски Люблинской губернии Берка Шварц, получивший имя

²⁶³ Алексеев И. Е. Тезисы сообщения, представленные на VIII ежегодную научно-практическую конференцию "Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи" (г. Казань, 6-7 ноября 2008 года)// Электр. ресурс: http://ruskline.ru/analitika/2008/11/13/ya_pravoslavnyj_sledovatel_no_russkij/ (дата обращения – 16.5.19).

Борис, по восприемнику Лукич²⁶⁴. В Казани, где поженились и учились родители-студенты, 9 (21) октября 1896 г. родился Евгений Львович Шварц.

Итак, основа для внутренней конфликтной национальной самоидентификации писателя заложена самим фактом рождения в «смешанной» русско-еврейской семье в России. Поддерживался этот факт в детстве отношениями взрослых: «У родителей отца мы в те времена не жили. Мама ссорилась с бабушкой» (I,10), - сказано в записи дневника от 26 июля 1950 г. В этом самом полном издании дневников Шварца запись приведена не полностью, в других же изданиях она просто пропущена, кроме парижского 1982 года, под редакцией Л.Лосева, которое я и процитирую:

«Мама все не могла поладить с бабушкой. Как я узнал впоследствии, однажды даже они поссорились на свидании в тюрьме,²⁶⁵ чем довели папу до слез, а потом отправили ему совместно написанное письмо, чтобы его утешить <...> Мама была неуступчива, самолюбива, бабушка – неудержимо вспыльчива и нервна. Они были еще дальше друг от друга, чем обычные свекровь и невестка. Рязань и Екатеринодар, мамина родня и папина родня, они и думали, и чувствовали, и говорили по-разному, и даже сны видели разные, как же могли они договориться?»²⁶⁶

Надо обратить внимание на то, что слова эти написаны в 1950 году 54-летним Шварцем, обдумавшим, вероятно, за свою жизнь то положение вещей, которое волновало его в детстве. Подчеркнута разница не только дум и чувств, но и речи, и даже снов двух ветвей родни: русской, тяготеющей к Москве, с рязанским говором, дедом-цирульником, бабушкой, ходившей в церковь, сестрами и братьями матери (двое из них «служили в акцизе», еще один был мировым судьей²⁶⁷); и еврейской, южной, живущей в Екатеринодаре (теперешнем Краснодаре), в которой все «чинно, как и подобало в семье человека по прозвищу «англичанин»,²⁶⁸ так прозвали сурового и сильного деда, владельца мебельного магазина, но с истериками бабушки Бальбины Григорьевны (Хаи-Бейлы Гершевы): «...бабушка, окруженная сыновьями, которые её уговаривают и утешают, вертится на месте, заткнув уши, ничего не желая слушать, повторяя: «Ни, ни, ни!» (26.7.1950 – I,10).

Однажды хрупкое равновесие между родней (мама не ладила с бабушкой, но дед относился к невестке уважительно, и оба любили внука) нарушил 4-х или 5-летний Женя,

²⁶⁴ Там же.

²⁶⁵ Л. Б. Шварц занимался подпольной работой, в 1898 г. был арестован и провел полгода в одиночной камере.

²⁶⁶ Шварц Е. М. Емуары. Сост. Л. Лосев. Париж, 1982, с. 49-50.

²⁶⁷ Там же, с. 54.

²⁶⁸ Там же, с. 50.

который «ни с того ни с сего отказался идти обедать к старикам. Почему? Отец страшно вспылал, больно дернул меня за руку, но я не сдался. Впоследствии я придумал объяснение: не хочу идти к бабушке и дедушке потому, что там повязывают салфетку, которая меня душит. Но это была чистая ложь» (I, 11). Запись опять не полна, вариант в издании Лосева звучит следующим образом: «Жили мы отдельно, но по воскресеньям ходили к бабушке и дедушке обедать. Я вдвоем с папой. Эти обеды я любил, меня принимали у стариков ласково, внимательно <...> И вот, к величайшему своему удивлению и даже огорчению, я заявил в одно из воскресений, что обедать к деду не пойду. Почему? Подозреваю, что маме почему-нибудь не хотелось, чтобы я уходил, и она намекнула мне на это».²⁶⁹

В противовес екатеринодарскому неприятию матери, в Жиздре (Калужской губернии) «исчезал» отец, «будто его и не было»²⁷⁰ (в издании 1999 г. сказано: «...отец, помнится, не приезжал сюда» – 27.7.1950 (I, 12)). Кроме того, из "неудержимой шелковской потребности дразнить" мать "поддразнивали <...> тем, что он (Л. Б. Шварц – Е.Р.) еврей" (6.11.1950 – I, 74).

В каждой семье – Шварцев и Шелковых – было по 7 детей, все получили образование, и все мечтали о славе. Е.Л. пишет: «Вот в чем сходились и Шелковы и Шварцы – в мечте о славе. Но, правда, мечтали они по-разному, и угрюмое шелковское недоверие к себе, порожденное мечтой о настоящей славе, Шварцам было просто непонятно. Недоступно».²⁷¹

Здесь указан еще один важный для Шварца конфликт, также окрашенный национально, – отношение к славе, причем еврейское, «шварцевское», кажется простым, сильным, незамутненным, а русское, «шелковское» – сложным, запутанным, недоверчивым, но при этом, обращенным к славе *настоящей*. Насколько это верно вообще, мне трудно сказать, но Евгений Шварц дает именно такую оппозицию (напомню, взрослым человеком и писателем), заметно это и в отзывах о родителях и их семьях. Например: отец «был человек сильный и простой <...> Участвовал <...> в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложная и замкнутая <...> Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел» (I,71; курсив мой – Е.Р.).

²⁶⁹ Там же, с. 51.

²⁷⁰ Там же, с. 52.

²⁷¹ Там же, с. 55.

Еще одна запись, через полгода (26 февраля 1951 г.) после цитированной, сообщает о талантах братьев и сестер отца, снова в сравнении их с материнскими: *«Отец происходил из семьи, несомненно, даровитой, со здоровой, лишенной всяких усложнений и мучений склонностью к блеску и успеху <...> Исаак (отец известного чтеца Антона Шварца – Е.Р.) с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста, удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристочкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня (Антон Шварц – Е.Р.) уже шел по пути старших чуть ли не с трех лет <...> Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво, и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые её вчера вызывали»* (I,132). И еще раз, 4 марта 1951 г.: *«Думаю, что отец смотрел на удачи свои, принимал счастье, если оно ему доставалось, встречал успех, как охотник добычу. А мама – как дар некоей непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может и отнять»* (I, 137).

Шварц считает русскую натуру угрюмой, запутанной, недоверчивой, сложной, а еврейскую – ясной, здоровой, понятной, простой. Судя по дневнику, Шварц стремился к простым и ясным, «еврейским», отношениям со славой, но не доверял ей по-матерински, по-русски. Например, 9 сентября 1950 г. в дневнике записано по поводу первых стихотворных опытов 1909 года: *«...я унаследовал недоверчивое и мрачное мамино честолюбие...»* (I, 250), а 5 марта 1952 г.: *«В то время (в 1911 г., в 15-летнем возрасте – Е.Р.) я очень уважал Шварцев, на которых был так мало похож. О них говорили – все Шварцы талантливны <...> Они были определены, и мужественны, и просты – и я любовался ими и завидовал. Нет, не завидовал – горевал, что я чужой среди них»* (I,361). Простой названа и уверенность в себе Антона Шварца: *«... уверенность – органическая, внушающая уважение, простая»* (ТК, 488).

И описывая других людей, Шварц выделял их отношение к славе, пытаясь определить его по шкале: «русско-еврейское», причем русское ценится им больше. Например, 3 июля 1953 г. о Шостаковиче в 1942 году написано: *«Он знал себе цену, но вместе с тем я узнавал в нем знакомое с детства русское мрачное недоверчивое отношение к собственной славе»* (II,171); в 1956 г. в портрете врача, профессора Ивана Ивановича Грекова, Шварц отметил: *«Сразу угадывал ты человека недоужинного, нашедшего себя. И по-русски не раздувающего этого обстоятельства <...> Он знал себе цену. Но знал и цену славе. Не хотел ей верить»* (ТК, 80). Для

сравнения: прелесть художника Натана Альтмана для Шварца «*в простоте, с которой он живет, пишет свои картины*» (ТК, 9).

У Е.Л. отношения со славой были такими же «еврейско-русскими» (в его понимании), как и его национальность. Например, в записи 12 мая 1953 г. об успехе первой пьесы в ТЮЗе в 1929 г.: «*Я был ошеломлен, но запомнил послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью*» (II, 140; два раза употреблен противительный союз «но»).

В детстве Евгений Шварц считал себя русским на основании православной веры. Он был крещен, так же, как и его младший брат, услышав антисемитские высказывания, в 7-8-летнем возрасте не относил их к себе: «*Так как я себя евреем не считаю, <...> я не придаю сказанному ни малейшего значения. Просто пропускаю мимо ушей. <...> При довольно развитом, нет – свыше меры развитом воображении я нисколько не удивлялся тому, что двоюродный брат мой еврей, а я русский. Видимо, основным я считал религию. Я православный, следовательно, русский. Вот и всё*» (ТК, 471).

Религия занимала важное место в душе Шварца-ребенка: примерно в 4 года он стоял в алтаре церкви, а потом играл в церковную службу (I,11-12); в 7-летнем возрасте он «*с наслаждением крестился*» вслед за извозчиком, проезжая через Москву в Жиздру к брату матери, и «*чувствовал, что я такой же, как все*» (I, 65); принял первое причастие в Жиздре, которое «*прошло по всем моим жилам*», а бабушка плакала и утверждала, что него «*снизошел святой дух*» (I, 67); там же торжественно и празднично, вместе с материнской родней, ездил в коляске смотреть на вынос чудотворной иконы («*Я прикладываюсь к прохладной ровной руке богородицы...*» - I, 68).

К Жениным 8 годам его мать стала неверующей, а для него это время «*было временем полной, лишенной всяких сомнений веры*» (I, 94), и он спорил с горячо любимой матерью о религии в Екатеринодаре (т.е. у отцовской родни), имея на своей стороне дедушкину кухарку. Тогда же состоялся разговор с кузеном Антоном Шварцем о рае и аде: «*...Тоня спросил робко: «А если еврей хороший человек, то он может попасть в рай?» Я твердо ответил: «Конечно, может!» Я не мог допустить, что хорошего человека за что бы то ни было можно наказывать вечными муками <...> Тоня, после моего ответа сосредоточенно молчавший, сказал, когда мы перелезли через забор: «Этим ты меня значительно успокоил»*» (I, 95).²⁷²

²⁷² История повторена в «Телефонной книжке» (18 июля 1956 г.), с. 472.

С очаровательной иронией (которой Шварц не дает воли в дневнике, заставляя себя писать просто) описанная сценка показывает детскую незамутненную уверенность Жени Шварца, что он русский и, следовательно, имеет право попасть в христианский рай, в отличие от кузена, тоже Шварца, которому путь туда он великодушно открывает сам, не справляясь с авторитетами в данном вопросе.

В подготовительном классе реального училища Женя *«любил батюшку потому, что любил закон божий и получал по этому предмету одни пятерки»*, и дружба со священником сохранилась до конца учения, хотя «с пятого класса» Евгений *«стал получать по закону двойки»* (I, 141-142). Отношения к вере были сложными: *“Бог <...> был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами”*, – и одновременно сам 14-15-летний Шварц и его друзья были *“яркими врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. А я еще и молился. И был суеверен до крайности”* (15.12.1951 - I, 313); *“Я не верил, но потребность в вере, в цели, в мирозерцании у меня была сильна”* (20.3.1952 - I, 372).

О дальнейших отношениях с верой и религией в дневнике не рассказано, подробно описаны другие влияния: книги, отношения с людьми, раздоры в семье, болезнь отца, познание женщин, первая мучительная любовь. В дальнейшем Шварц почти не упоминает о религии, но он это сделал, описывая свое детство (напомню, в очень непростые для советских верующих любой конфессии 1950-52 годы).

Трудно сказать определенно о вере писателя в атеистические двадцатые-тридцатые годы, первая жена, актриса Гаяне Холодова, считала, например, что он к религии равнодушен. Но в записи от 19 августа 1954 г. есть рассказ о зажигании со второй женой, Екатериной Ивановной Обух, 24 декабря 1929 года не то запрещенной, не то уже разрешенной елки и о добывании для нее восковых свечей из церкви (II, 178-179). Только еще начиная свои воспоминания о детстве, Шварц в дневнике 4 августа 1950 г. записал: *«Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то представляю маму <...> она встречает меня в раю, чуть наклонившись, глядя вниз, как глядела на меня маленького»* (I, 17).

Определеннее всех написал о вере Шварца Л. Пантелеев в своей последней книге "Верую" (написанной в середине 1970-х гг. и изданной только в 1991 г., как и завещал автор, через 3 года после его смерти):

“Весной 1926 года пришел за чем-то в ленинградский Дом книги, в детский отдел Госиздата (где готовилась тогда к печати «Республика Шкид»), стою где-то в полутемном коридоре, покуриваю

<...> Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц – молодой, стройный, красивый и такой возбужденный, распаренный, как будто он только что танцевал или в снежки играл. Через плечо у него перекинута длинная типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде, чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: "Ты в Бога веришь?" Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: "Да. Верю". "Я – тоже", - говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой сжав мою руку, слегка потрянув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской".²⁷³

В дальнейшем, как пишет Пантелеев, за 35 лет их знакомства и дружбы они о религии и вере не говорили, молиться в церковь Шварц не ходил, но перед смертью 15 января 1958 года в Ленинграде Е.Л. исповедался священнику о. Е.В. Амбарцумову и причастился.²⁷⁴ Похоронен Евгений Львович Шварц на Богословском кладбище в Ленинграде под православным крестом.

Формально вопрос о национальности вставал в жизни Шварца дважды, в серьезные моменты жизни: в 1914 г., в начале Первой Мировой войны, при его попытке поступить в военное училище, и в 1920 г. при первой женитьбе. По поводу первого случая 6 декабря 1952 г. в дневнике записано: *«Выяснилось, что я православный, рожденный русской, по документам – русский, в военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так как отец у меня еврей»* (I, 513-514). Кстати, отец Евгения Львовича по документам также был православным, что в очередной раз подчеркивает лицемерие российской власти.

Комментариев автора нет, он записал только, что идти добровольцем имел право, но т. к. был еще несовершеннолетним, родители запретили ему это.

Другая история описана в воспоминаниях первой жены Шварца армянки Гаяне Халайджиевой: *«Регистрация нашего с Женей брака <...> состоялась 20 апреля (1920 г.) в Никольской армянской церкви. Для матери, и особенно для её братьев, брак дочери-армянки с евреем (отец Жени был еврей, а мать – русская) был чем-то сверхъестественным, и потому они*

²⁷³ Л. Пантелеев. Верую. – Л., 1991. – Цит. по: <https://azbyka.ru/fiction/ya-veruyu/#p3>. Дата обращения – 26.4.19.

²⁷⁴ Алексеев И. Е. Указ. сообщение.

*потребовали, чтобы Женя принял нашу веру. Женя к религии был равнодушен и согласился <...> И потом в паспорте у Шварца еще долго стояло – армянин».*²⁷⁵

Евгений Шварц считал себя русским, но другие чаще всего воспринимали его как еврея. Существует еще свидетельство, что в 1928 г. Шварц для неких официальных документов назвался "иудеем", причем служащий понял и написал это как "индей". Отражение сей феномен нашел в стихотворении "Генриетте Давыдовне" (1928) друга Шварца – Николая Олейникова:

Я красив, я брезглив, я нахален,
Много есть во мне разных идей.
Не имею я в мыслях подпалин,
Как имеет их этот индей!²⁷⁶

В детстве домашний уклад «смешанной» семьи Е.Л. был русским: на пасху и в сочельник подавали поросенка, отмечали Рождество; дома была икона, правда, только одна, которой благословили мать перед свадьбой, и образок святой Марии Египетской; в 1900 г. в Ахтырях на Азовском море семья жила у священника. (Е.Л. по этому поводу замечает: *«Очевидно, в обществе всё тихо, мирно, если у молодого врача встречаются в гостях священник, полицмейстер, учитель»* (I, 17). Черносотенство в семье и среди друзей – евреев и русских – безусловно осуждалось, это самое отрицательное, что можно было сказать о человеке: *«...в брезгливом отношении к черносотенцам, будто к зачумленным <...> сказывался воздух, которым я дышал»* (I, 302).

Судя по дневникам, Шварц всегда оценивал внешность, характеры и поведение людей, подмечая национальные черты, наряду с социальными, он «считывал» мимику, жесты, движения, обращая пристальное внимание на «русское» и «еврейское». При этом еврейские черты, как мне кажется, оцениваются в большей степени как «чужие», «русские» же как более близкие, но само их выделение говорит о национальной «пограничности» автора. (Так же подчеркивается "чуждость" других национальных черт, например, грузинских – в записях о путешествии в Грузию (II, 259-287), или немецких – в

²⁷⁵ Холодова Г. Чистая душа // Житие сказочника... – С. 189.

²⁷⁶ Цит. по изд.: "...Сборище друзей, оставленных судьбою". "Чинари" в текстах, документах и исследованиях в 2-х тт. – Т. 2. – Б.м., 1998. – С. 427. Примечание В. Н. Сажина о происхождении слова "индей" - с. 686.

портрете дирижера Курта Зандерлинга (ТК,162). Приведу несколько из множества примеров, имеющих в дневниках и в «Телефонной книжке».

О приятельнице матери, жившей в доме Шварцев: *«Высокая стройная девушка <...> с огромными, часто полузакрытыми еврейскими трагическими черными глазами, с вьющимися жесткими волосами, крупным ртом...»* (I, 302). О другой девушке, жительнице Майкопа: *«Не могу сказать, что эта маленькая четырнадцатилетняя еврейка нравилась мне, но, слыша или читая в арабских сказках о красавицах с глазами газели, я представлял себе именно глаза Розы»* (I, 190). Об однокласснике: *«...Павка Фейгинов, подвижной, быстро говорящий еврейчик. Он родился в Буэнос-Айресе, и в доме его родители говорили по-испански <...> Было в живости его, в улыбке, в скороговорке что-то автоматическое»* (I, 334).

В портрете писательницы А.Я. Бруштейн отмечен её *«и насмешливый и веселый картавый говор»* (II, 52); о писателе Илье Бражнине (Пейсине) Шварц отзывается так: *«Это очень еврейского типа человек, не по-еврейски спортивный...»* (ТК, 51); об актере и драматурге Леониде Соломоновиче Любашевском: *«Человек худенький, по-еврейски, за такой худобой угадываются – и сила, и темперамент <...> не по-восточному мягок и немногословен»* (ТК, 281); о писателе Владимире Лифшице: *«Такие еврейские мальчики, спокойные, естественные, внимательно вглядывающиеся в мир через очки с неестественно толстыми стеклами, рослые и тонкие, были знакомы и казались понятными <...> Володя, по-еврейски, уважал жену»* (ТК, 285); кинорежиссер Михаил Григорьевич Шапиро *«по-еврейски толстеющий – с нижней части живота. Таким образом, его туловище как бы отстает от той части фигуры, что помещается ниже пупка»* (ТК, 491).

В «Телефонной книжке» есть и общее представление о некоей еврейской внешности: *«Есть евреи не семитического, а хамитского типа: курчавые волосы, толстые негритянские губы. Фрэнз Илья Абрамович противоположной породы. Если бы под его портретом стояла подпись: «Наследник Исменского престола», всякий подумал бы: «Да, настоящий араб». Он строен, сухощав, смугл, длинлиц, по-ближневосточному аристократичен»* (ТК, 456). «Хамитскими» Е.Л. считал и черты внешности отцовских родственников: *«...все Шварцы, полногубые, негроподобные, - я, к сожалению, не принадлежал к их породе»* (ТК, 485); зато у Антона Шварца лицо *«с ясно выраженными шварцевскими чертами – не семитическими, а хамитскими: полные губы, густая шапка жестких волос»* (ТК, 473).

Надо заметить, что место еврейских мотивов в воспоминаниях Шварца со временем только увеличивается, как с возрастом яснее проявляются еврейские черты во внешности

самого писателя. Верно, впрочем, и то, что героев-евреев в "Телефонной книжке" так много потому, что они, действительно, преобладали в окружении Шварца – кино-литературно-театральных и врачебных кругах Ленинграда и Москвы.

К описанию евреев в мемуарах Шварца привлекается и эпитет «библейский», который обозначает, скорее, общечеловеческие чувства или силу их, а не библейские образы и сюжеты. Например, о Натане Штейнварге (директоре Дворца пионеров в Ленинграде) написано, что он *«по-библейски обожал семью»* (ТК, 135); у матери М.Г. Шапиро *«библейски могучий характер, что сказывалось в грозном её молчании, осуждающем и уничтожающем»* (ТК, 492); а *«старенький скульптор»* Гинцбург вопит *«отчасти с библейской, отчасти со стасовской яростью»* (II, 207). Эпитет может относиться и к неевреям, например, о Вахтангове сказано, что он *«и учитель в библейском смысле этого слова»* (ТК, 551).

Теперь о русских. Вот инспектор реального училища в Майкопе Михаил Александрович Харламов: *«Негустая, черная, очень русская бородка росла у него только на подбородке, оставляя худые щеки свободными»* (I, 168-169); знакомый родителей Лев Коробьин, *«с блестящими светлыми глазами. Ресницы вокруг подобных глаз не слишком светлы и недостаточно темны – их не видишь. Глаза глядят открыто и, не найду лучшего выражения, – просто. Это очень русские глаза, и они дают характер всему лицу. Зная такие глаза, я сразу понял, например, Толубеева, ныне народного артиста. У забулдыг такие глаза бывают, а у негодяев нет»* (I, 189); дочь врача больницы в городке Бахмут на Донбассе Наталья Сергеевна Иванова: *«Лицо у нее было очень русское, большелобое. Большие серые глаза. <...> Красили её две длиннейшие косы»* (II, 57). У писателя Федора Сологуба *«тяжелое лицо, и русское и римское»* (II, 99); художник Николай Федорович Лапшин, *«с длинным, спокойным, очень русским лицом»* (II, 106).

При этом своеобразного эталона, как в случае с еврейской внешностью (семитический тип с «глазами газели» или хамитский с толстыми губами и курчавыми волосами), в русских чертах, в описании Шварца, нет, но он рассчитывает на понимание, когда пишет «очень русские» лицо, глаза, даже борода.

В «Телефонной книжке» при рассказе о русско-еврейских семьях всегда подчеркнута Шварцем несходство во внешности и поведении супругов и непременно описываются дети от этих смешанных браков²⁷⁷. Приведу один из примеров, семьи критика и журналиста Симона Давыдовича Дрейдена: *«Он был самый длинный, патлатый и хохочущий из всех.*

²⁷⁷ Телефонная книжка, с.71, 96-98, 116-117.

Тощий. В очках. Необыкновенно и энергичный, и рассеянный в одно и то же время <...> Он женился, как подобает, на женищине, вполне ему по конституции противоположной: полной блондинке <...> Родился у них мальчик Сережа. <...> Мальчик беленький и уж до того русский, что это просто удивительно» (ТК, 116-117).

Кроме внешности (отлично понимая при этом «бесплодное, неразрешимое желание – понять человека по лицу» – II, 199), в мемуарах описаны более сложные признаки, например, «русский юмор»: учитель Шебедев «был наблюдателен и необыкновенно смел. Смело объединял, подчиняясь своей, внутренней логике, факты, о которых рассказывал. Это был русский юмор. (Образец: Чехов пишет брату: «Вам дали классическое образование, а вы ведете себя так, будто получали реальное»)» (ТК, 354). О той же черте «русского» юмора – алогичности – сказано в описании атмосферы и друзей 1920-х годов (Олейникова, Хармса, Заболоцкого, Житкова): «Остроумие в его французском представлении презиралось. Считалось доказанным, что русский юмор – не юмор положения, не юмор каламбура. Он в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. («А невесте скажите, что она подлец».) И угловатый, анархический Житков, русский из русских, с восторгом принимал это беззаконие» (II, 132).

В рассказе о любимой семье друзей юности Соколовых подчеркнута также «особая, обожаемая мной русская артистичность» (ТК, 413).

Трудный вопрос о национальной природе – русской или еврейской – юмора Шварца я здесь не ставлю. Драматург Леонид Малюгин, например, пишет в воспоминаниях о юморе Шварца, приводя примеры Гейне и английского «юмора со спокойным лицом».²⁷⁸

Кроме "своих" "русских" евреев, описал Е.Л. дважды и "чужих", с которыми он столкнулся в поездке по Грузии в 1935 г. и в эвакуации в 1943 г. в Сталинабаде (Душанбе). В первый раз это был только взгляд из окна автобуса, в котором ехала делегация писателей, но увиденное было отмечено и зафиксировано почти через 20 лет в записи 6 июля 1954 г.: "...проехали через еврейские поселения, которые самый опытный глаз, вот так, с ходу, с автобуса не отличил бы от грузинских. Нам рассказали, что поселились тут они еще до разрушения Иерусалима и не ссорятся с соседями. Сжились. Не только не ссорятся, а зовут их посредниками, когда начинаются споры или ссоры между грузинскими деревнями" (II, 274). Запись скорее этнографического характера, но впечатление все же было надолго сохранено писателем.

²⁷⁸ Малюгин Л. Евгений Шварц. // Е. Шварц. Проза. Стихотворения. Драматургия. – М., 1998 – С. 522.

Во второй раз это были евреи, эвакуированные из Западной Украины, «бородатые, с пейсами», причем для Шварца их «восточная» стихия была «менее понятна», чем даже таджикская. Он считал, что и говорят они «по-древнееврейски», что объяснил ему «еврейский поэт из Польши», тоже «представитель» «незнакомого еврейства», с которым «знакомство не завязалось», как пишет Шварц потому, что «я не чувствовал себя евреем, а его никто другой не занимал».

Это важное признание, ведь Шварц «не чувствовал себя евреем» во время Второй Мировой войны, когда национальность стала вопросом жизни и смерти. Он был в эвакуации, а «еврейский поэт», у которого немцы «убили жену и дочь», «всё рвался на фронт и уехал воевать, наконец». О нем рассказано холодно, отрывочно: «Говорил он по-русски без акцента. Бросит несколько слов и задумается <...> Фамилию его – забыл» (ТК, 41). Хотя на соседней странице «Телефонной книжки» 1955 года написано почти теми же словами о другом еврее, и эти слова совсем не холодны: «Хирург этот, еврей и одессит, был скромн до аристократичности, говорил по-русски без малейшего акцента <...> И я забыл его фамилию! Непременно узнаю и запишу» (ТК, 42).

Евреи, оба говорящие по-русски без акцента, описываются как «чужой» и «свой», фамилии обоих забыты, но для поэта это неважно, а для хирурга подчеркнута восклицательным знаком и обещанием узнать. Кстати, и отсутствие акцента обычно отмечается у иностранцев или у иноязычных, т. е. евреи являются таковыми для Шварца.

На этом можно закончить «биографическую» часть, хотя следует еще указать, что фамилия у Шварца осталась еврейская, и он ответил отказом на предложение отца, «который считал, что русский писатель должен носить русскую фамилию», подписываться фамилией деда по матери – Ларин. Интересно, что предложил это именно отец, крещеный еврей, и, наверное, в те годы, когда Шварц уже стал писателем (вероятно, после 1929 г., когда прошла премьера первой пьесы «Ундервуд»). «... я все как-то не смел решиться на это» (I, 13), – написано в дневнике 27 июля 1950 г., а в варианте «МЕМуаров», изданном Лосевым, добавлено: «... я почему-то не посмел, не решился на это. Смутное чувство неловкости остановило меня. Как будто я скрываю что-то. И я не смел считать себя писателем».²⁷⁹

²⁷⁹ МЕМуары, с. 53. То же в изд.: Е. Шварц. Проза. Стихотворения. Драматургия. с. – С. 37.

Человек русской культуры, Е.Л., возможно, понимал иронию сочетания «Евгений Ларин» в русском литературном контексте, но полагаю, что значение имело его нежелание скрывать под псевдонимом «неудобную», еврейскую «половину» своей личности, наряду с русским, в понимании Шварца, недоверием к славе – «*я не смел считать себя писателем*»²⁸⁰.

Уточню также, что Е.Л. чуждо «черно-белое» отношение к еврейским и русским характерным чертам, в его дневниках нельзя выделить хорошее отношение к евреям и плохое к русским или наоборот, каждый персонаж описывается автором многопланово.

* * *

В творчестве Евгения Шварца еврейская тема присутствует, в том числе, и открыто.

Вспомним пьесу «Голый король», написанную в 1934 г., т. е. через год после прихода Гитлера к власти в Германии (напечатана и поставлена впервые только в 1960 г.). Король сказочной страны «*объявил, что наша нация есть высшая в мире*» (II, 444), и камердинер предупреждает переодетых в ткачей героев: «*...ни слова о наших национальных, многовековых, освященных самим создателем традициях. Наше государство – высшее в этом мире! Если вы будете сомневаться в этом, вас, невзирая на ваш возраст... (Шепчет что-то Христиану на ухо)*».

Христиан. *Не может быть.*

Камердинер. *Факт. Чтобы от вас не родились дети с наклонностями к критике. Вы арийцы?*

Генрих. *Давно*» (II, 457-458).

Понятно, что имеется в виду Германия, где была использована стерилизация людей. Напряжение снимается репликой Генриха, что они «давно» арийцы, но разговор о «чистоте крови» возникает вновь. Король рассказывает, что видел во сне «*благородную нимфу, необычайно хорошей породы и чистой крови*» (II, 464), а в беседе с придворным ученым о родословной Принцессы ужасается, когда речь заходит об Адаме:

Король. *Какой ужас! Принцесса еврейка?*

Учёный. *Что вы, ваше величество!*

²⁸⁰ В статье Н. Рудник «Черное и белое: Евгений Шварц» (Вестник Еврейского университета. – М. - Иерусалим, № 4 (22), 2000. – С. 117-150 и в кн. её же: "Будущее в прошедшем". – Пиза, 2001 – С. 138-167) высказывается предположение об отказе Е. Л. Шварца сменить фамилию только по соображениям литературным. Кроме того, творчество и личность писателя рассматриваются в противопоставлении черного и белого, выводимых из имени (Евгений (греч.) – благородный и Шварц (нем.) – черный), с чем я не могу согласиться, кроме натянутости аналогии, и потому, что Шварц и его мир – явление многоплановое и «многоцветное».

Король. *Но ведь Адам был еврей?*

Учёный. *Это спорный вопрос, ваше величество. У меня есть сведения, что он был караим.*

Король. *Ну то-то! Мне главное, чтобы принцесса была чистой крови. Это сейчас модно, а я франт»* (II, 469).

В Германии уже начались преследования евреев, а караимов (секты, отделившуюся от иудаизма еще примерно в VIII в. на основе веры только в письменную Тору, но не в устную) нацисты не тронули. Кроме того, если верить, что первый человек, Адам, был евреем, то все расовые теории лишаются смысла.

Король бушует, подозревая «нечистокровность» принцессы, и вопит: *«Немедленно знать принцессу! Может, она семитка? Может она хамитка!»* (II, 475) Хамитами, произошедшими от Хама, сына Ноя, считались народы черной расы (негров в Германии преследовали тоже), но в слове «хамитка» слышно и более новое значение понятия «хам» – хамка. Правда, увидев красавицу принцессу, король жалуется *«ей немедленно самое самое благородное происхождение, самое чистокровное!»* (II, 482)

И в *«Драконе»*, созданном во время войны, в 1943 г., также описано, что вполне сказочный Дракон с тремя головами «избавил» свой город от цыган (которых также преследовали нацисты), и архивариус Шарлемань, который *«в жизни своей не видал ни одного цыгана», «еще в школе проходил, что это люди страшные»* (III, 417). Дальнейшая характеристика цыган, кроме одной черты – «они воруют детей» – чрезвычайно похожа на антисемитские высказывания о евреях: *«Это бродяги по природе, по крови. Они – враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они воруют детей. Они проникают всюду»* (III, 417).

Особенно антисемитским духом веет от высказываний: *«Они – враги любой государственной системы»* и *«их идеи разрушительны»*, тогда как цыган, насколько известно, никто не обвинял во внесении в наш мир новых идей. В «драконовом городе» «еще сто лет назад» так же, как в нацистской Германии, *«любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови»* (III, 418). А Бургомистр начинал рассказывать анекдот со слов: *«Одному цыгану отрубили голову...»* (III, 437).

Можно сказать, что проблема «еврейское-русское» существовала в жизни Е. Шварца как пограничное состояние ощущения своей национальности, отношения к религии, к славе. Оценка Шварцем других людей всегда учитывала национальные черты, но если они

были еврейскими или русскими, то всегда неоднозначными: нельзя сказать, какие из них «положительны», какие «отрицательны» - и те, и другие многоплановы. На анализе биографического материала, мне кажется, можно отметить восприятие Шварцем «еврейских» черт, скорее, как «чужих» (в случае с евреями из Западной Украины и как «чуждых»), а «русских» как более близких, при постоянной рефлексии на эту тему.

Полагаю, что еврейская компонента оставалась постоянной во внутреннем мире писателя, возникая в творчестве подспудно в особом качестве его юмора или, скорее, в интонации его сказок для театра, но явственно и даже подчеркнута проявилась в поздних дневниках. Хотя в пьесах 1930-40-х гг. – "Голый король" и "Дракон" – еврейская тема прозвучала открыто, в качестве антинацистской, как отклик на современные события.